

**елена  
КОЛИНА**



**ВОСПИТАНИЕ  
ЧУВСТВ**

**бета-версия**

Елена Колина

**Воспитание чувств: бета версия**

«Елена Колина»

2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Колина Е.**

Воспитание чувств: бета версия / Е. Колина — «Елена Колина»,  
2015

ISBN 978-5-17-092580-3

Любовный треугольник на Невском, 66: Алиса, толстая, умная, злая: «Мне не нужно ничего знать! Я хочу уметь говорить обо всем, – чтобы люди думали, что я интеллигентный человек из хорошей семьи, у меня хорошее образование. Зачем мне читать “Войну и мир”? Мне нужна одна фраза, чтобы я ее сказала и все заткнулись и подумали “О-о-о!”». Петр Ильич, хороший мальчик: «В чем-чем, а в любви я разбираюсь. На чем зиждятся мои знания? На “Яме” Куприна». NN, питерская интеллигентка: «Я знала всех, кто был кем-то, а все, кто был кем-то, знали меня». Нанята отцом-миллионером Алисы, чтобы за три месяца сделать из девочки интеллигентного человека. Любовь, воображаемая и действительная в феерической истории современного Пигмалиона. Квартира у Аничкова моста превращается в самое необыкновенное место на свете, где из «ужасного материала» лепят новую личность, где перемешаны добрые и низкие чувства, бизнес и метафизика, где предаются и жертвуют собой, а случайная встреча определяет судьбу...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-092580-3

© Колина Е., 2015  
© Елена Колина, 2015

## Содержание

Что это было?	7
Как это было	8
Я шел зимою вдоль болота	12
Как это было	18
В галошах	21
Как это было	25
В шляпе	28
Конец ознакомительного фрагмента.	39

## Елена Колина

### Воспитание чувств: бета версия

*И долго я стоял у реки,  
И долго думал, сняв очки:  
«Какие странные дочечки  
И непонятные крючки!»*

**Д. Хармс**

*«Я буду любить тебя все лето» —  
это звучит куда убедительней, чем «всю жизнь»,  
и — главное — куда дольше!*

**М. Цветаева**

*Я знаю способ справиться с вашей депрессией, если она у вас есть, увеличить заработки, если вам их недостаточно, и обеспечить вам приключения, если их у вас нет. ...Существует школа. Если вы входите в трудный класс... употребляйте массу трудных слов, не отказывайте себе в удовольствии произнести слова «трансцендентальный», «параномастический» и «окказиональный». Это воспринимается как заклинание. ...Два часа вас будут слушать — с тем же любопытством, с каким глядят на экзотическое насекомое. На третий они заговорят на этом языке. ...Это я люблю. Ради этого я готов вставать в половине восьмого.*

**Д. Быков**

*Ну и, конечно, все совпадения случайны, иначе и быть не может.*

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Е. Колина, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

## Что это было?

Осенью 2014 года, на канале Грибоедова у корпуса Бенуа.

Звонит Ларка. Сейчас скажет: «Ты видел курс доллара?» Ларка, как маньяк, смотрит «доллар – евро – нефть», зажмуривается, как будто, открыв глаза, увидит другой доллар, другой евро, другую нефть, открывает глаза и опять смотрит. Сейчас скажет: «Я так люблю его, что сразу умру, я умру без него...»

Запретить ей, что ли, говорить про курсы валют в радиусе трех метров от меня?

– Тебе-то хорошо, у тебя нет дома. Нет ипотеки.

Трех, у меня нет трех ипотек.

У Ларки *три* ипотеки, Ларка боится потерять дом в Черногории (если она перестанет платить кредит, банк заберет дом, «я так люблю его, я умру без него» – это про дом), квартиры в Питере («в одной из них живет наша мама, если ты забыл» – а это *про меня*), Ларка – хорошая дочь, она думает о старости, о маминой и о своей, черт, почему она в 35 лет думает о *своей* старости?! Потому что Ларка – средний класс, средний класс в любом возрасте думает о старости?.. Я никогда не слышал от Ларки «я так люблю его, я умру без него» – про человека, только про дом.

*Из неприятностей* кроме курса доллара у Ларки конфликт с мамой: мама будто копила в себе все эти годы недоброжелательство к Ларкиным успехам, теперь она говорит: «Тебя волнуют только пармезан и курс доллара!», Ларка срывается на визг, и все становится как двадцать лет назад, когда они сражались насмерть из-за голой полоски на Ларкином животе: точно ли она означает, что Ларке грозит стать проституткой, или нет.

– Если я не смогу платить ипотеку, банк отнимет квартиру, и где ты будешь жить?

– Где-нибудь буду, с тобой. Девяностые пережили, и это переживем.

Переходим на личное, визжим:

– Да вы именно что пережили, вам чем хуже, тем лучше, это мазохизм, – вам нравится терпеть, наконец-то у вас нашелся смысл жизни... Ты опять найдешь себя в очередях!..

Переходим на очень личное, обижаем:

– А твой смысл жизни – потребление. У меня по крайней мере есть ребенок и ты.

Это я *ребенок своей мамы*, а Ларка ее взрослая дочь, но это давняя история.

– А я кому ребенок?! ...Между прочим, благодаря мне твой адрес опять Невский, 66...

Обычный диалог, – как видите, здесь перемешано все, и общественное, и личное, и очень личное. Повод для истерики: Ларка вызвала маме врача, впервые не платного, а участкового, из экономии.

И что оказалось:

– что жизнь не остановилась: бесплатная медицинская помощь существует;

– участковый врач – *тот же* врач, который приходил к нам двадцать лет назад: жив-здоров и так же нетрезв. У него все так же плещется спирт во фляжке в заднем кармане брюк, я сначала узнал звук, а потом его самого. Ларка говорит: «Ужасно, как будто за двадцать лет ничего не изменилось», а по-моему, прекрасно, что наш участковый врач все двадцать лет мужественно небрит и всегда слегка на взводе, как герои Хемингуэя.

## Как это было

*27 августа 1992 года*

Ни слова о мокрых пятнах на простыне. Вообще никаких упоминаний о сексе.

О чем еще я не буду писать? О том, что эти люди охренели.

Тем более они охренели не только что, а с момента моего рождения. Только подумайте, я – Петр Чайковский, а им на это чихать.

Нет! Мой Дневник – не обычная подростковая смесь секса и жалобного воя про родителей! Мой Дневник – летопись становления П. Чайковского как человека.

Программа становления меня как человека

1. Список для чтения: «Война и мир» (читать, а не смотреть кино!), «Снежная королева» (хочу перечитать это место про Северного Оленя, которое я так люблю в мультике).

2. Стремиться, чтобы у меня было метафорическое мышление.

(Узнать у кого-нибудь, что такое метафорическое мышление.)

3. Научиться употреблять слова «транс» и «трансцендентная интуиция». В нашем доме никто таких слов не знает. А еще говорят: «Ты из интеллигентной семьи». Особенно мама всегда повторяет: «Помни, что у нас интеллигентная семья» – и как бы в доказательство поводит рукой в сторону книжного шкафа. Там стоит полное собрание Джека Лондона. Еще Чехов, Жюль Верн, «Библиотека приключений» и Максим Горький. Получается, я отношусь к интеллигенции за счет книжного шкафа, ну и папиного высшего образования.

4. Не есть курицу. На родственном обеде в честь моего дня рождения будет курица. Звучит, как будто я, к примеру, Кот – и Курица приглашена ко мне на родственничный обед. На моем дне рождения будут: мама, папа, Ларка, дядя Сеня с тетей Шурой, курица. Возможно, правильно говорить «кура».

Почему не есть курицу (куру?)? Потому что я не умею красиво пользоваться ножом и вилкой.

5. Научиться красиво пользоваться ножом и вилкой.

Мама с папой при мне поругались, где курица (нужно где-то уточнить, может быть, все же «кура»?) дешевле, на рынке или в магазине. Мама говорила, что в ларьке на оптовом рынке дешевле. Папа говорил, что мамина страсть к грошовой экономии нелепа: бензин на поездку на оптовый рынок как раз составляет разницу в цене между курицей на рынке и в магазине. И что раньше она (мама, не курица) была совсем другая. Мама говорила, что она бы с радостью осталась прежней поэтичной девушкой, если бы папа не стал тем, кем он стал... А кем он стал? Они совсем меня не стесняются!

Близкие люди должны друг друга стесняться, ведь они и так находятся слишком близко. Должны стыдиться показывать друг другу свои совсем уж плохие качества (страсть к грошовой экономии однозначно совсем уж плохое качество, ведь они не стали бы обсуждать с чужими разницу в цене этой несчастной курицы... куры)!.. Папа это понимает и больше молчит, а мама не понимает и по субботам до вечера ходит в бигуди. Но о маминой прическе я писать не буду (ни слова в стиле «предки охренели»).

Мои претензии к маме:



– У нее кудри до плеч, как у Мальвины, а ведь она пожилой человек, тридцать пять лет.

– Она многовато врет для человека, который кричит мне и Ларке: «Как ты можешь врать?!» Она ведь знает КАК. Например, она говорит: «Я преподаю в Институте культуры», а сама просто работает в деканате: следит за расписанием занятий и выдает студентам справки. Она хочет отдать меня в Институт культуры, чтобы присматривать за мной и тем самым лишить меня молодости. На бесплатное отделение, например на «массовые праздники». Если папа найдет нормальную работу, то они поднапрягутся и отдадут меня на платное отделение, на самое модное, «менеджмент». Или все-таки отдадут на «массовые праздники», потому что «это все равно, главное – диплом».

– Она общается со своими подругами по телефону специальным, таким тонким возбужденным голосом. Пытается представить нашу жизнь более красивой. Вчера (я слышал своими ушами) три раза сказала кому-то по телефону: «У нас будет прием по случаю дня рождения Петра». А это просто придут дядя Сеня с тетей Шурой. Могла бы сказать правду: «Придет мой брат-дурак, и мы все вместе будем тупо есть курицу с оптового рынка». О-о, эти жуткие родственные обеды! О чем они разговаривают? Да ни о чем! Собираются, чтобы вместе пережевывать пищу. Дал бог родственничков! Дядя Сеня – мамин троюродный брат. Жаль, что у папы нет родственников, может, его родственники были бы умней? А может, были бы такие же глупые. Может, вообще все люди как дядя Сеня, может, это норма?

– Она обижается на папу за то, что дядя Сеня неожиданно обогатился. Дядя Сеня дал одному бизнесмену деньги в рост, чтобы тот платил ему проценты. И папу уговаривал дать. Папа подумал и отдал все, что у него было. Потом дядя Сеня забрал свои деньги с процентами и папу убеждал забрать (говорил «забирай сейчас, пока он не прогорел»). Папа долго убеждался, говорил, что у него своя голова на плечах, и не решился забрать у бизнесмена деньги, сказал «неудобно, он подумает, что я ему не доверяю». В общем, дядя Сеня забрал свои деньги с процентами, а папа прогорел. То есть бизнесмен прогорел и не вернул папе деньги. Мама не обижается на папу за то, что у него своя голова на плечах, она обижается за то, что дядя Сеня обогатился. Мама теперь намекает, что дядя Сеня проныра. Говорит: «Мог бы и помолчать о своих успехах: он нажился, а твой папа прогорел, а в доме повешенного не говорят о веревке...» При этом считает, что дядя Сеня самый успешный в нашей семье. Где логика?

А дядя Сеня – о-о-о! Дурак. Владелец ларька на оптовом рынке, где курица. В его ларьке продаются сигареты и алкоголь. Папа-то раньше писал стихи, я сам видел его тетрадки, там целая пьеса в стихах. Пьеса в стихах и ларек – это для нее не разница?!

– Позавчера вечером мы с ней и Ларкой сидели на диване под пледом и пели песни. Она обнимала нас с Ларкой крепко, как сумасшедшая мать. А Ларка не обнимала ее как сумасшедшая дочь. Ларка так любит папу, что хочет внедриться между ними даже на свадебной фотографии. Взяла и пририсовала себя между ними. Когда она была маленькая, конечно.

Когда пели «Издавна долго течет река Волга, а мне семнадцать лет», я не сумел сдержать слезы, вскочил и ушел. Она закричала мне вслед: «Как тебе не стыдно, у тебя вообще нет чувств!» Иногда она бывает сумасшедшая мать, а иногда просто сумасшедшая.

– Она не считает, что я самый-самый. Говорит, что многие люди умней и способней меня. А ведь она моя мать, а не этих многих людей! При этом утверждает, что моя самооценка не должна зависеть от того, какое место я занимаю в ее глазах. Лишь от того, насколько я сам доволен своим прогрессом на пути к цели, а какая у меня цель?

– И последнее: прическа.

– Совсем последнее: иногда создается впечатление, что ее собственная жизнь для нее важнее, чем моя.

К папе у меня претензий нет.

Кроме одной.

В прошлом месяце я принес котенка. (Котенок только что родился и сразу остался без мамы, был один.) Папа сморщился и сказал: «Только его нам и не хватало». Я сказал: «Я взял его на руки, он дышал. Если бы я не взял его на руки, я бы... а когда взял...» Папа сказал: «Понимаю. Когда ты кого-то спас, твоя жизнь кажется – для чего-то». Боже, боже, разве папина жизнь ни для чего?!

Это все его работа. Потерял и не может найти. На заводе он получал хорошую зарплату плюс командировочные (ездил в командировки на Украину, в военные части в Полтаву, а у нас бабушка как раз в Полтаве, папа жил у нее, а командировочные экономил). Я говорил: «Мой папа работает на военном заводе», это звучит гордо. Я говорил: «Мой папа делает взрыватели для сухопутной и морской артиллерии», хотя там еще были втулки и электрозапалы, но взрыватели звучат очень гордо.

У него была нормальная жизнь: утром на работу, на Ваську. После работы папа лежал на диване, читал. Или слушал магнитофон, Высоцкого. На его заводе еще делали магнитофоны, у нас дома их пять, папу награждали магнитофонами за хорошую работу.

А год назад на заводе военных заказов не стало. Сначала папе стали задерживать зарплату. Потом папе сделали сокращенную рабочую неделю. Когда он принес зарплату, мама сказала, что это не зарплата, а сдача. Потом папе сказали «бери отпуск за свой счет», потом заставили написать заявление по собственному желанию. Сказали, идите куда хотите. А куда? Папа говорит, он никому не нужен. Но ладно я, а он-то как? Он лежит на диване, и ему плохо.

Мама говорила: «Это раньше было – работай и не думай ни о чем, пришел с работы и читай – не хочу, а теперь как?»

Папа говорил: «Воровать я не буду». Мама говорила: «Почему обязательно воровать, иди, занимайся бизнесом, другие же могут». Моя претензия к папе: он хуже котенка. Даже добрейший котенок кусается, когда его щекочешь, он себя защищает. А папа совершенно себя не защищает. По-моему, не хочешь заниматься бизнесом, так и не занимайся.

Папа стал заниматься бизнесом, возить мясо из Белоруссии. Теперь мама говорит: «Только ради бога, не занимайся бизнесом». Бизнес провалился. Папу обманули. Мама кричала: «Других почему-то не обманывают, почему все хитрей тебя?!» Вот он и пал духом, лежит на диване, ждет работу. Мама говорит: «Ты лежишь как умирающий лебедь, как будто сейчас взлетишь над диваном».

Мама говорит: «Эти демократы говорили, что все народное, а сами все забрали у народа». Мама говорит: «Ты должен держаться молодцом, думать, как кормить семью, это раньше ты был инженер, а теперь никто». Но как держаться молодцом, когда ему все так обидно? Быть «никто» – обидно, когда все забрали – обидно, когда все хитрей тебя – обидно. Обидно, что раньше делал взрыватели для сухопутной и морской артиллерии, ездил в командировки в военные части как уважаемый человек, а теперь что?

Больше к папе претензий нет. Кроме еще одной: когда я думаю, что он думает, что его жизнь ни для чего, мне хочется плакать. Не знаю, сказать ли ему, что его жизнь тоже для чего-то: он помогает мне растить котенка. Я кормлю котенка из пипетки днем, а папа ночью.

Завтра мне исполняется 14 лет. Перед днем рождения всегда подводишь итоги.

Итоги

– У меня официально начался трудный возраст;

– Я давно люблю одного человека, с двенадцати лет. Этот человек не может быть со мной. Мы виделись только на даче в Сиверской, но вот уже два года мы дачу не снимаем, сидим в городе. А я не знаю, где она, прекрасное виденье, живет в городе. Это трагедия и проблема: пока я не разлюблю ее, я мертв для любви;

– Котенок не хочет сидеть в коробке, ползает повсюду и орет, укусил меня в нос;

– Оно было, было, было! (пятно).

## Я шел зимою вдоль болота

Ждешь чего-то всю жизнь как самого невероятного счастья, и вдруг невероятное счастье случается, и вот он, подарок от Деда Мороза, – и нет, чтобы тут же начать наслаждаться, откусывать от всех конфет, запихивать в рот мандарины и любоваться шоколадным зайцем, – нет, ты суешь нос в подарок, придирчиво всматриваешься, и оказывается, что конфеты не любимые «Мишка на Севере», а простые карамельки, у мандарина подгнил бочок, у шоколадного зайца отломился кусок уха, в общем, вместо Невероятного Счастья – Не Совсем То.

Когда человек рассказывает, тем более пишет о прошлом, всегда появляется такой немного заунывный тон «тадам-тадам-тада-ам», как будто крутят ручку шарманки. Почему? От осознания значительности своей роли в скрупулезном (и якобы беспристрастном) наклеивании прошлого на настоящее, в создании раз и навсегда зафиксированной картины, где ты и живописец, и зритель, и, хочешь не хочешь, судья? Буду бить себя по рукам, – если замечу эту заунывную интонацию, тут же прервусь и сделаю пометку «Уныло! Веселей давай!», или «Слишком многозначительно! Проще давай!», или еще как-нибудь, чтобы прервать этот монотонный тоскливый звук «тадам-тадам-тада-ам».

В нашей коммунальной кухне было шесть столов, в туалете на гвоздях висело пять сидений, – дядя Игорь не имел своего сиденья и вечно приворовывал сиденье соседей. Мама кричала ему: «У меня дети! А ты неизвестно где шляешься и в дом приносишь! Попробуй только возьми мое сиденье, я тебе его на голову надену!» Но никто не знал, чьим сиденьем воспользуется Игорь, в этом и была интрига.

Слова «своя кухня...» и «свой туалет...» мама произносила как люди произносят «любовь», – мечтательно, а «квартира в сталинском доме» – ласково-безнадежно, так люди говорят о совсем уж несбыточных мечтах. До начала девяностых, в советской жизни, отдельная квартира была Несбыточной Мечтой: тридцатиметровая комната на четверых не давала нашей семье права получить квартиру от государства, а на кооперативную квартиру родители не заработали бы никогда.

С начала девяностых квартиру стало возможным купить. Странное для советского уха выражение – купить квартиру?! как булку или картошку? – для *любого* советского уха, но для моих родителей особенно: если в советской жизни они были обычные, как все, то в новой, постсоветской, стали бедные.

Может быть, это *уже уныло* и нужно сказать себе «Веселей давай!»?

Они были бедные, не считая нескольких месяцев, когда папа «занимался бизнесом», – тогда у мамы возникли кое-какие надежды, например, она купила Каракулеву Шубу. Осенью шубу пришлось продать, чтобы выйти из бизнеса. Тогда мне было очень жаль папу, но теперь мне не меньше жаль маму: она успела пришить к шубе другие пуговицы. Прежние показались ей недостаточно нарядными, счастливыми, – и ей пришлось расстаться с шубой, с пуговицами, – пуговицы можно было бы оставить себе, но мама решила не рубить хвост по частям, а расстаться с надеждами одним махом. Так что об отдельной квартире можно было что? Забыть.

Но все же оставалась одна возможность: а вдруг нашу коммуналку купит какой-нибудь новый русский? Купит нашу огромную квартиру на углу Невского и Фонтанки с видом на Аничков мост и станет там жить-поживать, а нас расселит по городским окраинам. Бедная мама мечтала об этом мифическом новом русском, как Золушка о принце, как запертая Змеем Горынычем в башне принцесса об Иване-дурачке: придет, освободит, расселит по спальным районам.

Расселение коммуналок в центре шло активно: быстро разбогатевшим людям хотелось иметь жилье не просто хорошее, а роскошное, в особняках, – они расселяли коммуналки на

Невском и прилегающих к Невскому улицам. Однако в нашу квартиру принц все не приходил (что, учитывая наш вид из окон на Невский и на Аничков мост, наш балкон над Фонтанкой, наши четырехметровые потолки с лепниной и наши камины, было довольно странно) – до зимы девяносто четвертого года.

И вот, как всегда бывает, когда мама сказала папе: «Это не будет больше играть никакой роли в моей жизни, я буду жить, как будто Это никогда не случится», Это – раз, и случилось.

Все произошло молниеносно. Вечером пришла Тетка-риелтор, по-тогдашнему маклер, с неискренней улыбкой и бегающим взглядом (вряд ли она хотела обмануть нас или своего клиента, скорее это была профессиональная деформация – привыкла улыбаться и бегать глазами). Всех, включая *детей* (нас с Ларкой), нервно собрали на кухне, всем велели назавтра быть дома *в приличном виде*. «Оденьтесь прилично», – сказала Тетка плюс уничтожающий взгляд на дядю Петю в кальсонах и остальных в засаленных халатах. Как будто жильцы прилагаются к квартире и Он, новый русский, не захочет, чтобы потом, когда Он купит квартиру, дядя Петя бродил по его квартире в кальсонах. В общем, все должны быть в приличном виде ровно в половине седьмого, потому что после семи придет Он и у Него мало времени. Он – бизнесмен.

«Вот люди!» – сказал бы кто угодно *нормальный*, увидев реакцию соседей, и был бы прав: наши люди самые странные в мире. Вместо того чтобы обрадоваться, разнадеяться, попытаться как-то этому бизнесмену понравиться (ну, хоть в прихожей прибрать, что ли), все как-то насторожились: завтра вечером после семи к нам придет Враг, и ровно в половине седьмого нам нужно сидеть в доспехах с наостренными мечами.

С одной стороны: без сомнения, все (дядя Петя, слесарь, с тетей Катей, продавщицей Елисеевского магазина; баба Сима – бывший врач «ухогорлонос», ныне пенсионерка; баба Циля – бывшая завклубом по прозвищу Циля-два притопа, ныне пенсионерка; тетя Ира – профессор в Политехе, бывшая самая из всех обеспеченная, к тому времени такая же, как все, нищая; дядя Игорь – швейцар в баре «Роза ветров», владелец «девятки» с тонированными стеклами, как шептались, «бандит», но наш, домашний бандит) хотели получить отдельные квартиры на халяву, просто потому, что повезло жить на Невском у Аничкова моста.

С другой стороны: ни за что! Что «ни за что»? А ни за что не сдадимся! Не уступим! Покажем новому русскому, где раки зимуют и кузькину мать. Наша квартира была не пролетарская и не интеллигентная, а такой типичный срез советского общества: тут тебе и профессор, и продавщица; но все соседи, даже отчасти деклассированный, но вписавшийся в новую жизнь дядя Игорь, были удивительно единодушны в своем желании дать отпор новому русскому.

– Чего это я должен прилично одеваться? Лично я у себя дома. А если этот новый русский... если ему не нравятся мои кальсоны, так пусть идет к е... м... – сказал дядя Петя. – ... Лично я буду в кальсонах, и точка.

– А я специально опоздаю, – сказал дядя Игорь с видом «можете на меня рассчитывать».

Зачем? А вот так. Чтобы новый русский не задавался. Чтобы не думал, что может нас купить. Нашу жилплощадь.

– Но ведь именно об этом и шла речь, разве не так? Мы же хотим, чтобы нас расселили, почему же?... – спросил папа.

– Что ты понимаешь в жизни, котовод... гонора у тебя нет, – сказал Игорь, и все согласно кивнули, и мама тоже.

Что правда, то правда, гонора у папы не было. В словаре «гонор» определяется как «высокомерие, заносчивость, преувеличенное чувство собственного достоинства». Казалось бы, по отношению к кому может возникнуть высокомерие у пьяного Игоря, какой меркой нужно измерять пьяного Игоря, чтобы он оказался выше нового русского, который в силах сделать то, чего не смогло сделать государство, – развести по разным жизням пять унитазных сидений у Аничкова моста? Но дядю Петю и остальных *можно* понять: ведь еще вчера и всю жизнь были «все равны», а теперь что? Попрание всего, на чем росли. И этот новый русский, как он смеет

покупать мою квартиру, а значит, и меня самого, – он и спаситель, и ниспровергатель основ, бандит и гад, украл у нас... мы точно не помним, что именно, но что-то важное, возможность самим... самим что?.. Ну, всем все понятно, и этот разговор можно вести бесконечно, но все они, и даже мама, воспринимали нового русского как обидчика и унижателя нашего человеческого достоинства, а завтрашний день не как обычное житейское дело типа переговоры или сделка, а как войну миров, столкновение лоб в лоб в битве за «кто лучше», *личное* единоборство... Ну такие уж они. Все кивнули, и мама.

– Не волнуйтесь, мы интеллигентная семья, и, если что, мы обязательно... – сказала мама.

Она имела в виду: если нужно будет дать отпор новорусскому хамству, мы дадим, – если оно будет, а если нет, так нет.

Забегая вперед, скажу, что дальнейшая история, мамина личная история, – несчастливый роман, череда семейных неудач, попытки вывести меня в люди по своему разумению – сформировала у нее четкую систему ценностей: успешный и богатый всегда аморален, а тот, у кого все не получается, кто лежит на диване, отвернувшись к стене, – морален. Бедная мама, ею двигала не зависть к более удачливым, которые нам, конечно, враждебны и нами презираемы, а чувство самосохранения, нежелание признать, что папа – неудачник. Куда лучше слово «зато»: «зато он честный» или «зато он не суетится». Даже сейчас, через двадцать лет, она так обыденно, без напора, говорит «эта их прихватизация», словно так и написано в словаре – «приХватизация». Создание собственной системы морали с целью морального реванша за свои неудачи – история не новая, термин «ресентимент» придумал еще Ницше.

Назавтра вечером мы сидели на кухне принарядившись (наши люди самые нелогичные на свете), дядя Петя зачем-то надел медали... то есть снизу-то он был в кальсонах (мама просила его надеть штаны, но – нет), а сверху в пиджаке с медалями. С бабой Симой и бабой Цилей у мамы был схожий диалог («Вы бы хоть халат сняли». – «Я у себя дома!»), но обе остались в халатах, одна привычно, другая намеренно, а мама была в своем лучшем пятнисто-леопардовом платье и туфлях на каблучках, чтобы отделить себя от их негламурной фланелевой компании, – так наша квартира приготовилась встретить врага. Все робели в этой непривычной ситуации: хотели понравиться и были уверены, что не понравимся и нас не купят, и заранее гордо вскидывались – а нам и не надо!..

Раздался звонок, и мы высыпали в прихожую: новый русский (занял все пространство, как будто внесли шкаф и поставили поперек, на самом деле Роман был невысокий и худощавый, так что это мне показалось от волнения), за ним Тетка-риелтор с бегающими глазами, маленький мальчик, юная женщина с потрясающей длины и тонкости ногами, которую все приняли за жену, а она оказалась няней.

Роман прошел по квартире, заглянул в каждую комнату, но зашел лишь в нашу, вышел на балкон, посмотрел на Невский, на Аничков мост и вдруг выбросил вперед руку со словами «Здесь будет город заложен!», затем громко произнес: «Я царь, я бог!» И, обернувшись к нам, робкой толпой застывшим в дверях, сказал: «Годится». Все думали, что это будет обстоятельный осмотр с вдумчивым «А как тут у вас кран прикручен?», и мы будем, волнуясь, представлять наш кран в лучшем виде, а он – раз, и «годится».

– Подумайте еще... посмотрите другие квартиры в нашем доме... Как можно так быстро принять решение? – совершенно некоммерчески удивился папа, и Роман ответил:

– Да вот так.

Пришли на кухню. Мама заранее предупредила папу: «Не веди себя как умирающий лебедь, борись за свою семью – хвали квартиру, повышай ее ценность в глазах покупателя», и папа, солидно откашлявшись, приступил к делу.

– Я должен вас предупредить о проблемах квартиры: у нас плохой пол, пол нужно перебирать... а трубы... Ох, больно! – Очевидно, его ущипнула мама или пнул кто-то из соседей.

И тут же раздался громкий шепот дяди Игоря:

– Ты, мудака! Ни слова про трубы!

На самом деле трубы не имели никакого значения. Наша квартира не состояла из труб, стен, пола, потолка, провалился ли пол или рухнул потолок, можно было выйти на наш балкон – и ты над Аничковым мостом, в десяти метрах от первого коня Клодта, – я стоял на балконе тысячи раз, и каждый раз у меня начинал болеть живот от красоты. Не знаю, заболел ли у Романа живот, когда он смотрел на Аничков мост, но было понятно – он *хочет* смотреть на Аничков мост.

Решение было принято мгновенно, а дальше был торг. Все уселись за стол переговоров, покрытый белой от частого вытирания клеенкой, и Роман, тыкая пальцем в каждого, пять раз произнес – «однокомнатная», а в маму – «хорошая двухкомнатная». Тетя Катя сказала: «Нас двое, почему нам однокомнатную?» Тетка-риелтор, быстрее обычного бегая глазами, ответила: «Не хотите, как хотите, мы пойдем в квартиру напротив», но Роман сказал: «Сделай им вместо приличной однокомнатной дешевую “двушку”». Роман не столько был уступчив и добр к тете Кате (я потом часто видел, как он зверски торгуется из-за совершенно незначительной для него суммы), сколько понимал, что в квартире напротив окна во двор, а уже через несколько лет вид на Аничков мост ни за какие деньги не купишь. Нам было – хорошую двухкомнатную. *Хорошую* – нас выделили из массы: мы интеллигентная семья, мама красивая, и в нашей комнате балкон.

Дядя Игорь обиженно сказал: «Давайте еще вести переговоры», так быстро ему было не интересно и не *значительно*.

Обычно люди смотрят на собеседника на уровне рта, а Роман неотрывно смотрел в глаза, не мигая, как смотрят агрессивно настроенные животные, такая у него была привычка звериная.

– Тебе однокомнатная в хрущёвке, район можешь выбрать сам, – сказал Роман и посмотрел на Игоря пару секунд, вот и все переговоры.

– А можно им однокомнатные получше? – спросил папа, указывая на бабу Цилю и бабу Симу. – Они блокадницы.

– А мне по барабану, я не государство, блокадникам льгот не даю, – усмехнулся Роман.

Папа смеялся, мама уничтожающе на него посмотрела, улыбнулась Роману, выдохнула «...сталинскую?..», а Роман улыбнулся ей. Мама была красивая, яркая, с кудрями до плеч, такая, что люди сразу понимали, что имеют дело с красотой, а не с чем-то другим. Роман был не таким однозначным: все в его лице было кривоватым, неправильным, но вместе получалось красиво, и люди сразу понимали, что имеют дело не с красотой, а с обаянием.

...Да, а сколько лет было Роману?.. Потом я узнал, что Роману было тридцать шесть, он был младше папы всего на пару лет, но папа всегда был одет по-взрослому – в брюки с наглаженными стрелками, кроме, конечно, синих тренировочных, в которых он лежал на диване, а Роман был одет как я – в отвисшие на коленях джинсы и клетчатую рубашку.

Мальчик (в возрасте детей я тоже не разбирался, просто мальчик, малыш, точная копия Романа, такой же неправильный и обаятельный) противно тонко пищал (Роман раздраженно сказал, как о чужом: «Бывают же такие дети, которых не заткнуть»), длинноногая няня шикала на него: «Не трогай тут ничего, тут одни микробы», но он все время что-то хватал и посреди «переговоров» Романа с дядей Игорем вдруг замахнулся на нее и начал шлепать по плечам и громко смеяться, а она натянуто улыбалась и говорила как бы ласковым голосом: «Перестань, ну перестань». Я схватил его за пухлую лапу и сказал: «Ты что, с ума сошел?! Хочешь, я *тебя* шлепну?» Малыш так удивился, как будто никогда не слышал «Ты что, с ума сошел?!», кивнул, я шлепнул, и он опять стал смеяться. Мне показалось, он неплохой малыш, просто никто никогда не хватал его за лапу.

Няня пробормотала: «Могу я хотя бы в туалет сходить от этого ребенка?», и я забрал малыша в комнату, и мы начали катать мои старые машинки (стояли в коробке под кроватью),

потом он захотел полетать над диваном, я показал ему, как растопырить руки, как крылья, и он летал над диваном, потом он смотрел мультик по телевизору, я до этого никогда не видел, чтобы человек смеялся без перерыва, – хороший малыш, потом за ним пришла няня. Сказала: «А еще ленинградцы называется, я хоть из пригорода, но такого не видела, чтобы в туалете пять сидений, вот смехота».

Ну, и все, нас купили.

Разъезд произошел мгновенно, не считая того, что вдруг – всё отменяется! Баба Сима и баба Циля *никуда не поедут*.

Мы не сразу поняли, почему все отменяется, но потом поняли: дело было в том, что мы «ленинградцы называемся» и наша жизнь была связана с блокадой. Обыденно, без всякого пафоса: паникой в глазах бабы Симы, когда на Дворцовой раздавались залпы салюта в День Победы (у нас было хорошо слышно), и виноватым пожатием плеч «ничего не могу поделать, боюсь взрывов». Пачками геркулеса пятьдесят восьмого года на полке бабы Циля в общей холодной кладовке, – она их не открывала, держала на *мало ли что*. Тем, что мы с Ларкой называли чужую Цилю «бабой» и чужую Симу «бабой», – так велел дед, папин отец, он жил в нашей квартире еще «с до войны». Деда к тому времени, о котором идет речь, уже не было, я помнил кое-какие его рассказы, а Ларка нет.

Баба Циля тоже боялась салюта. Осенью сорок второго, кажется, года, ночью, пятнадцатилетние баба Сима с бабой Цилей пошли с кастрюльками к проруби на Фонтанку за водой. Спустились по ступенькам к воде (я каждый день ходил в школу мимо этих ступенек, по которым они спускались к блокадной полынье), набрали воды, прошли метров сто по набережной до нашего дома. Снег с проезжей части Невского отбрасывали к тротуару, и на углу Невского и Фонтанки были высокие, выше человеческого роста, валы, для прохода в них прорыли тропинки. Чтобы перейти дорогу к нашему дому, нужно было пробраться сквозь снежный вал: и вот, пока они были внутри снежного вала, в переправу на Фонтанке попала бомба, гранитную тумбу и решетку снесло в Фонтанку, – а снежный вал остался стоять. Девочки, баба Сима с бабой Цилей, вернулись домой невредимые и с водой в кастрюльках. Но с тех пор они боятся залпов салюта.

Ни дед, ни наши названные бабки никогда не говорили о голоде, о «подвиге ленинградцев». Наша жизнь была связана с блокадой самым естественным образом, как ночь с утром, но о блокаде никто никогда не говорил *специально*. К примеру, о бомбе и снежном вале баба Сима рассказала не в связи с Днем Победы или днем снятия блокады, а в связи с сосисками: однажды баба Сима встала в очередь за молочными сосисками, и сосиски закончились прямо на ней, но она упорно стояла (в очередях баба Сима стояла как вкопанная), и ей повезло, вдруг выкинули еще, – это было чудо. Баба Сима рассказала маме, как ей достались сосиски, и по аналогии вспомнила о бомбе на Фонтанке: бывают чудеса, не убившая их с бабой Цилей бомба – чудо, судьба, удача, и сосиски – чудо, судьба, удача.

Баба Сима нас лечила (она была «ухогорлонос», но лечила от всех болезней), в начале девяностых, когда баба Сима из врача стала нищей пенсионеркой, мама отдавала бабе Симе мои вещи (она была крупная), а Ларкины бабе Циле (она была мелкая). Баба Циля носила Ларкину розовую шапку из синтетического меха, Ларкину клетчатую юбку, цветные колготки, бывшее модное пальто из красного кожзаменителя. Пальто Ларка ненавидела и отдала его бабе Циле как будто бы от мамы, пришла и сказала: «Мама велела пальто вам отдать». Мама стонала «новое пальто!..», но забрать пальто обратно означало признать перед всей квартирой, что Ларка самовольная врунья, а мама плохо воспитала дочь и жадина. Это я к тому, что мы были как семья, и отказ бабок продавать квартиру мама восприняла как предательство: «Мы же были как одна семья, а они!..» Но это правда, мы были с бабками как одна семья и, как одна семья, после разъезда навсегда рассыпались в стороны. Баба Сима и баба Циля больше не



появятся в моей жизни, они – уходящая натура, и я как будто оглянулся и напоследок щелкнул фотоаппаратом. Можно узнать у мамы, были ли они с отцом на похоронах, но зачем?..

## Как это было

*18 февраля 1994 года*

А мама-то уже расставила на тетрадных листах мебель в нашей будущей квартире! А я-то уже подержался за копыто своего коня – это моя примета, и загадал, чтобы вернуться. А я-то уже думал, как я буду жить без всех? Без бабы Цили и бабы Симы. Без дяди Пети с тетей Катей я обойдусь, и без тети Иры тоже, а вот без пьяного дяди Игоря как? Он говорит котенку: «Ах ты, мурло пушистое!», а нам с папой: «Ну что, котоводы?»

Но вдруг – все. Всё отменяется.

Новый русский сказал маме: «У вас здесь одно старичье, я буду иметь дело с вами». Мама приосанилась, что с ней можно иметь дело, но не тут-то было.

Баба Сима и баба Циля отказались. Им дали по однокомнатной квартире, а они отказались. Мама сказала: «Если вам в вашем возрасте уже все равно где жить, вы хотя бы моих детей пожалейте», дядя Игорь сказал бабе Симе: «Старая карга, давно могла бы сдохнуть, так ничто тебя не берет, ни блокада, ни советская власть», тетя Катя назвала бабу Цилю жидовкой, а тетя Ира (она слишком интеллигентная для того, чтобы ругаться «жидовкой») высыпала ей в суп полную солонку.

Баба Сима и баба Циля, наверное, не могут с нашей квартирой расстаться. Они тут до войны жили и в блокаде. Нас в школе просили в день снятия блокады привести кто кого знает из блокадников рассказать о подвиге ленинградцев. Но они ни за что не захотели прийти и рассказать о своем подвиге. Баба Циля так и сказала: «Ни за что». Баба Сима сказала просто: «Нет». Вот вредные старухи!

А друг с другом они не разговаривают. Пятьдесят лет не разговаривают, с блокады. Баба Сима проходит мимо бабы Цили, как будто она тень. Баба Циля все время о бабу Симу спотыкается, как будто она бревно посреди комнаты. Когда они отказались переезжать и начались скандалы, баба Сима сказала маме: «Не думай, что я против вашей семьи» и кое-что маме рассказала, мама – папе, а я слышал.

Папа у бабы Симы был начальник, а мама домохозяйка. У бабы Цили отца не было, а мама была экскурсовод в Эрмитаже. Баба Сима с бабой Цилей в одном классе учились и были не разлей вода. Когда война началась, бабы Симин папа-начальник по благу отправил их с бабой Цилей в эвакуацию в Старую Руссу (я знаю Старую Руссу, мои родители там были в санатории). Никто не знал, что детей везут прямо на фронт, что к Старой Руссе уже подходили немцы. Тогда их повезли в детдом в Ярославскую область. В детдоме было очень плохо, голодно. В конце августа бабы Симин папа перед отправкой на фронт чудом вернул их домой, в Ленинград, а 8 сентября разбомбили Бадаевские склады.

В октябре бабы Цилина мама перевезла их в эрмитажные подвалы. Там спасалось очень много людей, кровати стояли вплотную, и на столах, где раньше картины раскатывали, спали люди. А в январе люди уже начали умирать, и хранилище картин стало как морг. Баба Сима с бабой Цилей вернулись домой. Стали там жить вчетвером, с мамами, в маленькой комнате (сейчас у нас там общая кладовка для всей квартиры). Окно забили и стали жить. У них были карточки детские и иждивенческие, 125 граммов хлеба, и все. Бабы Симины мама пошла работать на мясокомбинат. Приносила кости, они варили, так и выжили. Потом бабы Симины мама обвинила бабы Цилину маму, что она украла кости, и они поссорились. И бабы Цилина мама умерла от голода. Бабы Симины мама тоже умерла от голода.

Мама говорила: «Не понимаю, при чем здесь разъезд, почему они не хотят разъехаться. Наоборот, им *нужно* разъехаться и больше никогда не видеть друг друга... Все пропало, это тупик».

И вдруг!

Мама думала, что всё пропало, но всё не пропало! Наоборот, вдруг завертелось колесом! Баба Циля с бабой Симой согласились! Они едут *в одну квартиру*. Странные старухи: не разговаривают друг с другом пятьдесят лет. Ненавидят друг друга. Едут в одну квартиру. Папа сказал: «Они прикованы друг к другу».

Мама смеялась: «Представляю, как они *не разговаривают* в пятиметровой кухне в двухкомнатной квартире». Мама все время смеется. Она очень счастлива.

### *1 сентября 1994 года*

Нашел свой детский Дневник (думал, что он потерялся при переезде, но вот он, мой дневник). Читал, не мог оторваться. Как я был глуп! В день моего четырнадцатилетия, в сущности, меня занимало взросление моего организма и кура.

Мне нравится выражение «в сущности», звучит, как будто тебе есть что сказать кроме того, что ты уже сказал, даже если это не так. В данном случае меня занимало только взросление моего организма и кура. Теперь мне шестнадцать, у меня закончился переходный возраст.

На первом же уроке в новой школе (алгебра) математичка спросила меня: «О чем думали твои родители, называя тебя Петром, если ты уже и так Чайковский?» Мое пояснение, что меня назвали в честь скульптора Клодта, только окончательно запутало бы дело. И так-то все подумали, что я из семьи психов.

На самом деле все просто: игра совпадений. Папа дал мне имя в честь скульптора Клодта. Все знают «кони Клодта», но мало кто знает, что Клодта звали Петром. Мой дед жил в нашей квартире у Аничкова моста еще с до войны, папа родился в нашей квартире у Аничкова моста, потом я. Мы живем на третьем этаже, то есть жили, моя кровать была у окна. От окна до головы моего коня метров десять, не больше. Если привстать с кровати, кажется, что конь заглядывает в окно. Я перед сном всегда смотрел в лицо коню. Папа считает – у коня лицо, а многие из тех, кто говорит, что у коня морда, сами имеют морду.

Я говорил моему коню «спокойной ночи». Я с ним прожил пятнадцать лет, никто на свете не знает его как я, все его выражения лица. Под дождем одно, под снегом другое, под солнцем третье. Под дождем он самый красивый, просто невероятно красивый. Аничков мост – наше родовое гнездо, а кони Клодта – наши кони, кони нашей семьи.

Математичка сказала: «Уверена, что ты со всеми подружишься, ты такой славный мальчик, у тебя на лице написано, какой ты милый и добродушный». Неужели прямо на лице?

В новой школе меня называют Чайка. Пусть будет Чайка. Переходный возраст у меня закончился, и я уже не так критически подхожу к окружающей действительности (к людям, к маме). Бедная мама. Вот какое мне было дело до ее прически?

Бедная мама. Не одно, так другое. Не я, так Ларка.

Слышал (в новой квартире картонные стенки, так что все тайное тут же становится явным), как мама сказала папе: «У Лары начался переходный возраст прямо во время переезда». Сказала: «Теперь все, прощай, хорошая девочка, теперь она будет выпускать на меня пар».

Слышал, как мама говорила Ларке: «Мы не можем себе позволить покупать прокладки, ты должна пользоваться ватой». (О-о-о!!! Ужас!!! Зачем я это услышал! Теперь я никогда не смогу посмотреть ни на одну девчонку!) Но мне удалось стереть это из памяти, так что ничего.

– А я хочу прокладки, – сказала Ларка.  
– Я тоже, может быть, хочу прокладки, и что?! – сказала мама.  
– Я имею право! На нормальные средства гигиены! А не унижаться ватой!  
– Да?! Ты на все имеешь право, а я, я на что имею право? Мне тоже, может быть, уни-  
тельно, я тоже... А ты, ты требовательная дрянь! И не смей так на меня смотреть!  
– Как хочу разговаривать, так и буду! А что ты сделаешь? Ударить меня? – кричала Ларка.

Это первый раз, что Ларка кричит на маму. Все-таки странно: Ларка вышла из дома хорошей девочкой, села в грузовик на тюк с постельным бельем, по дороге у нее случилось это (фу!), и она мгновенно стала требовательной дрянью?

Мама-то как раз любит кричать. Любит ссориться. Папа говорит: «Она хочет, чтобы мы были идеальными».

Это точно. Особенно мама хочет, чтобы Ларка была идеальная. Что бы Ларка ни сделала (первое место в школе по прыжкам в длину или еще какое-то достижение), мама говорит ей: «Я жду от тебя большего». Говорит Ларке: «Тебе нужно носить брюки, у тебя кривые ноги, и не обижайся на меня, я говорю тебе правду». Но Ларке не нужна правда про ее ноги, ей нужно, чтобы ее хвалили! Мне тоже нужно, чтобы меня хвалили... Ну, ладно, я-то переживу, у меня-то давно закончился переходный возраст, а Ларка?

Ларка думает, что мама любит меня больше. Говорит: «Она на тебя *смотрит*». Но на Ларку мама тоже смотрит! И на кота.

Мама очень добрая к животным. Любит «В мире животных», потом рассказывает нам: «Тигр хотел задрать антилопу. Антилопу жалко, но, если посмотреть *со стороны тигра*... А взять белых медведей!.. Кака-ая у них тяжелая жизнь...»

А по телефону кому-то рассказывала: «Медведица не подпускает к себе медведя, пока медвежонку не исполнится три года. А медведь-шатун хочет только спариваться... Насколько все же женщины благородней мужчин». Она как ребенок!

Но, если честно, гораздо легче было бы, если бы она попыталась воспринимать всех нас, особенно Ларку, как доброжелательный, приемчивый ко всему взрослый человек (или приемлемый? в общем, который все принимает), на все улыбаться и пожимать плечами. Или что-нибудь не заметить, как будто это не имеет отношения к делу. Но она не такая, хочет, чтобы мы были идеальными, и мучает себя и нас (особенно Ларку) за то, что мы нет, не идеальные.

Записался в районную библиотеку. Взял для мамы книгу «Как воспитывать подростка». Там предлагается во время ссоры с подростком воображать, что на его месте – неодушевленный предмет, животное или посторонний человек. Это мысль. Пусть мама воображает, что Ларка – слон. Или что она сама слон. Или что Ларка – чужая взрослая тетя. И еще пусть радуется, что Ларка выпускает пар дома, а не в обществе.

Когда я вырасту и начну зарабатывать, я, наверное, уже не буду стесняться сказать в аптеке «дайте мне прокладки». Куплю ей сразу много прокладок (маме). Чтобы ей не было унижительно.

## В галошах

Родители были ошарашены своим новым счастьем, чувствовали себя обязанными быть счастливыми, и сильно раздражены. Источник раздражения у каждого был свой, у мамы – привольное поведение вещей, которые не сразу расположились в новых стенах, у папы – сами новые стены. Есть люди, умеющие мгновенно смириться с пятнами на солнце и простодушно радоваться солнцу, а папа, как говорила баба Циля, «чтоб сказать да, так нет», – папа подробно и печально рассматривал *пятна*. Говорил: «Ну, не могу я, *не могу* привыкнуть к этому адресу!»

Наш старый адрес – Невский, 66, наш новый адрес – проспект Большевиков, дом 20, корпус 5... В нашем доме на Невском – Книжная лавка писателей, в нашем доме на проспекте Большевиков – ЖЭК. В нашем доме на Невском жил Куприн, туда *заезжал* Чайковский, на проспекте Большевиков Куприн и Чайковский не бывали.

– Разве Чайковский мог бы заехать на проспект Большевиков, дом двадцать, корпус пять? – говорил папа.

– *Ты* же заехал, – рассеянно отвечала мама.

Мама не хотела лелеять папино недовольство, у нее имелись и собственные разочарования: она мечтала о квартире в сталинском доме (думаю, сталинская архитектура была для нее не столько формой, сколько содержанием, образцом патриархальных традиций, надежности, устойчивости, которых у нее не было в прошлом и не приходилось ждать в будущем). Не получилось: она была согласна на сталинскую двухкомнатную в любом районе, хоть на Луне, но Тетка-риелтор торопила, пугала, что Роман от нас откажется, нужно было срочно решать, – и мы оказались на проспекте Большевиков, в квартире-распашонке (из центральной комнаты выходили две семиметровые спальни, как рукава распашонки). Мама решила, что нам нужна гостиная, одна спальня им, другая нам, так мы с Ларкой опять стали жить в одной комнате.

*Дома*, у Аничкова моста, в нашей единственной на всех комнате могла бы поместиться вся эта новая трехкомнатная квартира, – плюс огромные окна, в окнах Фонтанка. Плюс кладовка, где гостила бабушка из Полтавы. Плюс мраморная печь с табличкой «Охраняется государством» (печь никогда не топили, там был мой тайник – мой тайник охранялся государством). Человек никогда не ценит то, что имеет: просыпаясь, видит в окне коня на Аничковом мосту и не ценит всю красоту своего положения... *Дома*, у Аничкова моста, папа чувствовал себя более значительным, история бросала отсвет и на него, а здесь, в потолках два двадцать, ощутил себя зернышком в ячейке. Он не мог сказать это вслух, люди обычно не высказываются так пафосно перед женой и детьми, он говорил: «Здесь нет антресолей, куда мне положить мои лыжи?» – «Выброси, ты ведь давно не катаешься», – весело предлагала мама.

Мама хотела радоваться и не соглашалась с папой ни в чем печальном. Она старалась построить вокруг себя правильно организованный мир. Родители оставили на Фонтанке совсем уж негодный скарб (папа хотел захватить с собой все дырявые алюминиевые кастрюли, все старые байковые халаты и фланелевые штаны «на тряпки», старый проигрыватель, но мама брезгливо сказала «я начинаю *новую* жизнь», и ему пришлось кое-что оставить), но все же они увезли с Невского жизнь нескольких поколений (не архивы, у нас их не было, – немного старых открыток, немного фотографий, и все): дедовы книги, чемоданы с белыми покрывалами и скатертями, связанными прабабушкой, дедову лопату – лопату папа наотрез отказался оставить, дед разгребал ею снег в блокаду... Ларка кричала, что не хочет жить среди *чужого* старья, и правда, дома, на Фонтанке, это было – память, а в квартире-распашонке почему-то стало глупой старой лопатой. В общем, жизнь поколений вылезала из квартиры-распашонки, как каша из горшка, да еще пустые трехлитровые банки (папа был опытный огурцезасольщик) и коробки, коробки... Каждая коробочка была подписана мамой с настроением и оценкой, к при-

меру «молнии и голенища от зимних сапог и др. Илюшин хлам», в чем просматривалась мирная семейная ирония и любовь. Коробка «...и др. Илюшин хлам» долго стояла под столом в гостиной, как будто нам каждую минуту могли понадобиться голенища от старых зимних сапог.

Не знаю, почему они, еще молодые, потянули все это добро за собой, – из предчувствия бедности? Многое из «хлама» действительно нашло свое место в *переделанных* вещах: из старой вещи делали что-то полезное, не нарушив ее сущность (облезлой зубной щеткой чистили ботинки, из старых голенищ вырезали стельки, из байкового халата шили мешок для обуви), вещи получались оскорбительно некрасивые, но честно выполняющие свои функции (щетка чистила, стельки грели, тряпка терла). Папа мог приспособить «хлам» для перехода любого предмета в новое качество (к примеру, непарная галоша с Ларкиного детского валенка использовалась для хранения гвоздей), на Ларкино едкое «а ведь где-то есть эстетика быта» отвечал непонимающим взглядом. Но и в двусмысленности, нелепости переделанной вещи есть своя эстетика.

«В трехкомнатной квартире *не может быть* мало места... – как мантру, повторяла мама. – ...Вот только куда мне девать эти чертовы лыжи?! Под кровать?..»

Мама жизнерадостно справлялась с вещами (папа печально замечал: «Ну, вынеси на помойку, отдай кому-нибудь, в общем, как-то избавься»), папа свыкался с новым положением дел, и самое незавидное положение было у Ларки: Ларку раздражал хлам, раздражала мама, к тому времени, как мы окончательно обосновались в нашей новой квартире, ей хотелось вынести маму на помойку, отдать кому-нибудь, в общем, как-то избавиться.

Ларка была – отдельная история.

Дома, на Невском, Ларка была Нежная Прелесь. На проспекте Большевиков Ларка, как выразился папа, стала *немного трудной, немного недоброжелательной*.

– Можно я в субботу поеду с ночевкой к Машке? Можно, да, нет?.. Если нет, я умру.

Ларку прежде никогда не отпускали с ночевкой, отпустить переночевать у Машки, школьной подруги, жившей на Фонтанке, означало завести новый порядок.

– Ну, Ларочка, ты же сама понимаешь, что нельзя.

– *Почему* нельзя? – с угрозой говорит Ларка.

Мама не может объяснить, почему. Это противно ее натуре, и все. Она любое явление разбивает на бинарные оппозиции: правое – левое, черное – белое, хорошее – плохое, старое – новое, Машка – не Машка. Машка осталась в старой школе на Фонтанке, в старой жизни, нам не нужно старое на Фонтанке, нам нужно новое на проспекте Большевиков. Ларку отдали в единственную в районе гимназию (помогли дипломы, которые она получила на районных и городских олимпиадах по математике и английскому), а меня – в обычную районную школу за углом.

– Я не знаю, кто там будет... вы там можете выпить... И вообще, ты *девочка*... – заговорщицки шепчет мама. Это уловка, на самом деле ей и в голову не приходит, что ее Нежная Прелесь может быть объектом сексуального интереса. Ларка внешне оставалась такой же хрупкой, как раньше, и (не знаю, прилично ли говорить так о сестре) все еще никакой попы, никаких коленок, никакой груди, так, цыпленок...

Но Ларка не хочет общих с мамой разговоров, мамина любовь заставляет ее считать себя маленькой. Ларка не с мамой, она против всех.

– Ага, вот чего ты боишься! Что я с кем-нибудь?.. Это тупость! Ты несешь бред! Если у тебя все мысли только про это, я тут ни при чем! Если я захочу, я и так это сделаю! Почему ты хочешь разрушить мою жизнь! Ты хочешь, чтобы я расплачивалась за то, что ты сама никуда не ходила, никому не нравилась, всегда была неудачницей!

– Лара! Всё, Лара, закончили, – говорит мама.

У нее дрожат губы. Она делает вид, что невозмутима. Ларкино оружие – сила голоса и страшные слова, мамино оружие... У мамы нет оружия (дрожащие губы и библиотечная

книжка «Как воспитывать подростка» не оружие, если, конечно, не хлопнуть этой книжкой Ларку по лицу).

– Твоя жизнь не станет хуже, если ты посидишь дома, – говорит мама, из последних сил цитируя книжку.

О-о, что тут начинается!.. Гнев. Ярость. Если бы вы видели Ларку в ярости!.. Ларка, как гоночная машина, разгоняется за секунду. Орет:

– Я буду пить, курить и спать с мужчинами! Тебе назло! Где угодно! Хоть в подъезде!

Мама наконец взрывается:

– Господи, за что мне это, что я сделала не так?! Страшно сказать, кем ты станешь! Как мне это пережить? Все мои усилия напрасны, вся моя жизнь была напрасна...

– Ты мне больше не мать! – орет Ларка.

Если Ларка *немного трудная*, кто тогда трудный подросток?

– Я никогда тебя не прощу! Я никогда с тобой не заговорю! – орет Ларка. И через минуту: – А что на ужин?

Если спросить ее: «Ты же только что говорила, что никогда...», она ответит: «Ну и что, что никогда, а сейчас я хочу есть».

– Как же ты будешь жить, Лара?.. – затихая, печалится мама.

– Ничего, как-нибудь справлюсь, – бодро отвечает Ларка.

По мнению мамы, Ларка на грани того, чтобы стать алкоголичкой, наркоманкой и нимфоманкой. Мама собирается вплотную заняться воспитанием Лары, когда окончательно разберет коробки.

По мнению старой школы на Фонтанке, Ларку ждет большое будущее, новая школа на проспекте Большевиков еще не успела составить мнение о ее будущем. Но с чего бы им думать о Ларкином будущем плохо? Ларка *не дома* – образцовая, целеустремленная отличница примерного поведения, с подругами искренняя, услужливая, добрая (вечно у нее кто-то списывал). Дома наша Нежная Прелесть жила под девизом Каждый день Больше Ада. Очевидно, алкоголичкой, наркоманкой и нимфоманкой Ларка *будет дома*.

Если у кого-то возник вопрос, где при всем этом папа, то папа – на диване, в пик скандала делает звук телевизора громче. Это некий негласный договор: Ларка – папина дочка, стесняется папу, не хочет при нем быть гадкой, крикливой, а папа за это продолжает считать ее немного трудной Нежной Прелестью... Говорят, что подросток не владеет своими эмоциями, и из-за этого весь сыр-бор, но Ларка, мне кажется, *владела*: при виде мамы надевала на себя маску Бармалея, при виде папы маску Зайчика. У меня было по-другому: мама могла быть «плохой» или «хорошей», но всегда до доньшка моей, а папа... я как будто ехал с доброжелательным попутчиком в поезде, он благожелательно наблюдает за мной, но ничего обо мне не знает, как и я о нем.

Иногда я думаю – какие отцы у других? Люди обычно не хотят говорить о таком, я бы и сам ответил на такой вопрос задумчивым меканием: «Мы с отцом были э-э... не близки, но я же э-э... его сын». Мой отец то ли разучился быть отцом-старшим другом-учителем из-за своих неудач, то ли никогда не умел. Не помню, чтобы он дал мне когда-либо какой-либо внятный совет, кроме того, как завязывать галстук. В отличие от Романа, который начал меня учить с первой минуты нашей встречи на Аничковом мосту: «Главное, чтобы была мечта. Я всю жизнь хотел стать миллионером и стал долларовым миллионером».

Мама сказала бы на это «хвастаться нехорошо» и «любить деньги некрасиво», отчасти исходя из общего представления об интеллигентности, отчасти от обиды.

А мне не казалось некрасивым, что Роман любит деньги, говорит о деньгах; деньги воплощали его энергию, драйв, торжество победителя, – Роман любил свой миллион долларов, как будто это был значок «Победитель Соревнования Всех». Родители были *обижены* – Роман

живет в *нашей* квартире, любит на *наш* Аничков мост, им хотелось, чтобы я разделял их обиду. Но ведь это они считали новую жизнь хаосом, в котором прежние нормы утратили смысл, а я в силу возраста просто данностью миропорядка.

Как-то в самом начале октября я, вместо того чтобы после школы пойти домой обедать, поехал *домой* на Фонтанку – и встретил Романа.

– Ты чего в жизни хочешь? Главное, чтобы была мечта, – сказал Роман. – Но самое главное – масштаб мечты. Какая твоя мечта: гуляш с макаронами или миллион долларов?

– Гуляш с макаронами.

Это была не попытка пошутить, а мгновенная искренность: я был голоден.

...Классика, завязка романа: встреча, которая меняет жизнь, разворачивает жизнь в другую сторону. Или же любая встреча лишь немного шевелит цепочку событий, и ручейки другим путем попадают в одну и ту же реку?... Вот оно, занудство, от которого не удержаться, когда говоришь о прошлом. ВЕСЕЛЕЙ ДАВАЙ!



## Как это было

*10 октября 1994 года*

После школы поехал домой, на Фонтанку. Хотел постоять на Аничковом мосту. И знаете, кто там уже стоял? И смотрел на Фонтанку? Вот именно, папа.

Я к нему не подошел, это его личная жизнь. Я и не знал, что он тоже ездит постоять на Аничковом мосту.

А мама, думаю, никогда, с чего ей стоять без дела на Аничковом мосту, бессмысленно глядеть на Фонтанку? Мама и Ларка рациональные люди, не испытывают бесполезных чувств, сразу идут обедать.

Папа стоял у моего коня, смотрел на Фонтанку. Положил руку на выбоину на постаменте, где написано: «Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941–44 гг.». А вдруг папа здесь с кем-то встречается, с женщиной? Обязан ли я в данном случае как мамин сын узнать, с кем, или, наоборот, как папин сын обязан не узнавать? Да нет, никакой женщины не может быть, он просто стоит и думает. Может, о том, что у него нет работы, а может, о своем отце. Моем деде.

Мой дед в октябре сорок первого снимал коней с Аничкова моста. Не один, конечно. Коней сняли с моста, чтобы в них не попала бомба. Положили в деревянные ящики и закопали напротив нашего дома, в Аничковом дворце. Сверху насыпали газон, чтобы никто не знал, но все в Ленинграде, конечно, знали. Кони были под землей всю войну, а в сорок пятом году их поставили обратно. Мой дед в сорок первом снимал коней с Аничкова моста, а в сорок пятом ставил обратно! Радовался, наверное, что кони спаслись и он опять будет смотреть на них из окна.

Чтобы не столкнуться с папой, повернул на Фонтанку и подошел к нашему дому. Никак не привыкну, что это уже не наш дом.

Как вдруг подъехала машина. Обрызгала меня. Машина «мерседес».

Из машины вышел дядька, который купил нашу квартиру. На нем не малиновый пиджак, как на новых русских, а джинсы, рваные на колене. В руке сотовый телефон, большая трубка с крышкой, крышка откидывается, и можно говорить.

Он стоял у машины, чтобы перейти Фонтанку, говорил по телефону и вдруг отпрыгнул назад, как лев, и схватил какого-то мальчишку за ухо. А в руках у мальчишки дворники. Я и не заметил, как он снял дворники с его машины, а как дядька-то заметил? Он что, спиной видит? Дядька одной рукой держал мальчишку за ухо (дворники уже были у него под мышкой), другой выгреб из кармана мальчишки деньги, смятые бумажки и мелочь. Сказал: «Пуск!» и дал ему пенделя, он так и полетел вперед, упал. Я помог ему подняться, и он убежал.

Дядька меня не узнал. Потом узнал, сказал:

– А-а, это ты, привет!

Я сказал:

– Здравствуйте, а зачем вы забрали у него деньги?

– А чтобы знал, как п...ь.

Потом он стал пристально смотреть на меня и сказал:

– Скотина... Вот ты-то мне и нужен... Завтра в три будь у меня. Зовут-то тебя как?

– Петя Чайковский.

– Ха. «Детский альбом» я и сейчас сыграю. ...Я буду звать тебя Петр Ильич, а ты зови меня Роман.

Он дал мне свою визитку, на визитке написано «Игорь Иванович Васильев, президент».

– Но вы же Роман, а тут написано «Игорь Иванович»?

– Я себе еще не сделал визитку, возьми пока эту.

– Хорошо.

Зачем я ему завтра в три? Скотина – это кто? Какая-то скотина, которая угрожает ему? Он хочет, чтобы я ему помог? Он может доверять только мне? Но почему он может доверять только мне? В книгах бывает, что именно незнакомцу доверяют что-то важное, например, передать письмо перед смертью.

Оказалось, все просто! Все прекрасно, супер! У меня есть работа!

Оказалось, что у Романа хорошая память и чутье на людей. Он сказал: «У меня хорошая память и чутье на людей. Я сразу понимаю, как я могу этого человека использовать. Если человек мне сразу не нужен, я откладываю это в долгий ящик, а в нужный момент всплывает. Я запомнил, как ты играл со Скотиной, ты-то мне сейчас и нужен».

Оказалось, что скотина – это его сын. Малыш, которому я дал по нахальным лапам за то, что он бил няню.

Скотина (вот оно что, ему не два-три года, а шесть) в этом году пошел в первый класс. В платную частную школу.

– Ты смотри, что пишут... – Роман достал из кармана измятую записку и прочитал мне: – «Уважаемый Роман Алексеевич! Алеша высморкался в рисунок коллеги». Коллега – это учитель рисования. У них там идея в том, что учителя, родители и дети – свободные личности. Вот придурки. Написали бы тогда: «Уважаемый Роман Алексеевич! Ваш коллега Алеша высморкался в рисунок».

Роман хочет начать для своей Скотины новую жизнь. Забрать его из платной школы. Отдать в другую, нормальную.

И нанять ему другую няню, меня. Старую он только что выгнал.

Роман сказал, что было неправильно выбирать нянь не для Скотины, а для себя: «Эти суки все понимают буквально и за свои услуги хотят слишком много». Я спросил: «Сколько? Мне не надо слишком много». Он засмеялся: «Ты не будешь требовать того же, что няньки».

– Я тебя увидел и подумал: вот оно. Не хочу, чтобы он чуть что – разинул пасть «а-а-а!» и сопли до колен. Скотине нужна не п...а на ножках, а мужик. Ты.

Роман сказал, что няньки балуют бедного Скотину еще хуже мамки, потому что, «суки, хотят устроиться». Я понял, они хотели, чтобы он на них женился.

– Я могу обращаться к ребенку Скотина? – спросил я.

– А как тебе еще его называть?

Мне не разрешено: обращаться со Скотиной, как будто он мой наниматель.

Мне разрешено: обращаться со Скотиной, как если бы он был мой брат. Воспитывать Скотину по своему разумению.

Роман сказал: «Можешь отшлепать его, припугнуть».

Я против того, чтобы пугать ребенка. У нас Ларка один раз чуть не умерла: у нее поднялась температура и отекло горло. Врач со «скорой» сказал, что это отек Квинке, Ларка чуть не задохнулась. Стали расследовать, что было. И что? Баба Сима сидела с Ларкой. Ларка капризничала, плевалась супом, и баба Сима сказала: в блокаду на Аничковом мосту стояла маленькая старушка в платочке, она ласково разговаривала с непослушными детьми и незаметно подталкивала их к открытому люку, дети проваливались в люк, а под мостом работала огромная

мясорубка... Баба Сима хотела поддать ужаса, а у Ларки оказалась аллергия на ужас. Я повел Ларку на мост, показать, что там нет никакого люка.

Ларка до сих пор ненавидит старушек, я и сам не доверяю старушкам, особенно маленьким. Нет, пугать Скотину я не буду. Шлепать тоже не мой метод воспитания. Если только пару раз шлепну, несильно.

Роман перебежал Фонтанку между машинами, как мне мама не разрешает, с тротуара крикнул: «Петр Ильич! Завтра в три!» Ура, ура, я завтра опять буду на Аничковом мосту, увижу своего коня!

Если честно, не понимаю, как я смогу всегда пропускать последний урок. Чтобы доехать от проспекта Большевиков до Невского, нужен час с запасом. Но работа важнее, чем учеба. С первой зарплаты куплю маме прокладки и Ларке, ладно уж. Зашел в Аничкову аптеку на углу нашего дома, посмотрел – они там продаются.

По дороге домой зашел в библиотеку. Взял книгу «Как воспитывать ребенка». Библиотекарша не хотела давать, потому что я еще не сдал книгу «Как воспитывать подростка», спросила: «Ты что, из многодетной семьи?» Думала, что я из многодетной *неблагополучной* семьи.

Дома: рассказал, как Роман отложил меня в долгий ящик и пригласил работать старшим братом. Я буду получать пять долларов в день, зарплата в конце каждого месяца, как у водителя и домработницы.

Папе кажется, что я завожу неподходящие знакомства. Ему кажется, что Роман идиот – нанимать брата. Маме кажется, что за несовершеннолетнего должны договариваться его родители, потому что ребенок (я) не на улице живет, а в семье. Было бы приятно, если бы мама сказала «молодец, что у тебя есть работа» или «я всегда в тебя верила», но маме кажется, что людям нельзя говорить хорошее, это их портит.

Ларка завидует, что у меня есть зарплата.

Завтра мой первый рабочий день.

## В шляпе

Мой первый рабочий день (вторник, 11 октября) вошел в историю как «черный вторник»: в этот день произошел обвал рубля. Дома у нас была паника. С 3000 рублей за доллар курс взлетел до 4000, и в то утро отец сказал: «Это конец всего».

Чего – *всего*? Казалось бы, черный вторник не имел к нам никакого отношения: отец не занимался бизнесом, не играл на бирже (из нашей семьи любым *игроком* можно представить лишь Ларку). Но это был его личный крах: у него были деньги на черный день, 150 долларов, – все, что «осталось от бизнеса»; когда не на что было купить еду, он брал оттуда и потом возвращал обратно. Эти 150 долларов накануне зачем-то были переведены в рубли, и теперь, с обвалом рубля, наш золотой запас уменьшился на четверть. «Сейчас все подорожает... как мы будем жить?..»

Отец, подумав, принял решение, побежал в обменник купить доллары на оставшиеся рубли, но, выстояв очередь, передумал и вернулся домой еще более взвинченным: очередь обсуждала, что нужно срочно покупать доллары, доллары скоро закончатся, но *может быть, и нет*, и он решил еще посмотреть-подумать, *все равно все пропало, все равно простые люди всегда в проигрыше*.

...Без пяти минут три (мама сказала «опаздывать нельзя и приходиться раньше нельзя») в мой первый рабочий день я вместе со своими методами воспитания (написал на бумажке, бумажка в кармане) звонил в звонок бывшего моего подъезда.

С нашего переезда всего-то прошло полгода (весна и лето), но все изменилось: в подъезд нельзя было войти, как прежде открыв дверь ногой, дверь была новая, стальная, с домофоном.

«Кто?» – спросил голос, я ответил: «Я... к Роману... Алексеевичу...» – «По какому вопросу?», я ответил: «Я на работу. Я... кран течет...» Не мог же я сказать: «Я тут работаю старшим братом».

В подъезде тот же спёртый запах, облупленные грязно-голубые стены, знакомые мне до каждой выбоины лестничные ступеньки, но справа от лестницы теперь была будка, небрежно сколоченная, немногим больше будки бульдога, – а в будке сидела (сюрприз!) моя учительница физики из старой школы на Фонтанке по прозвищу Материя. Любимая фраза «Всё, что есть во Вселенной, это материя», седой парик, всегда немного набок, любимый писатель Чехов, дочка-психолог (тоже работала в нашей школе).

Материя узнала меня, сказала: «У меня у дочки у ребенка...», как будто я потребовал объяснений, почему она тут, вместо того чтобы рассказывать в школе про материю. Из смущенного нагромождения родительных падежей было понятно, что ей неловко, что сидит она тут вынужденно. «Вынужденная посадка», – говорила баба Сима о том, что не хотелось делать, но пришлось, в данном случае это была самая настоящая *вынужденная посадка* в будку.

Случай Материи был таким же, как у папы, случаем смятого жизнью человека: у внука открылась сильная аллергия, дочь сидела с ребенком, на учительскую зарплату втроем не прожить, и, как только встал выбор купить внуку фломастеры или молока, она ушла из школы, и теперь они с дочкой-психологом по очереди сидят в этой будке сутки через сутки. «Вот так-то: мы, люди с высшим образованием, теперь услуга... Вот какая у нас теперь жизнь... Сейчас *не наше* время», – сказала Материя. Перед ней лежал томик Чехова, рот она скривила так беззащитно, что мне стало стыдно смотреть на нее, как будто она сняла передо мной свой парик.

Я сказал бы ей, что она не кажется мне другой, не стала хуже оттого, что сидит в будке (хотя мы оба понимали, что *кажется и стала*, как отец понимал, что, будучи безработным, *кажется другим и стал хуже* инженера), но это обидело бы ее, а не поддержало. Я сказал: «Мой папа и все его знакомые с завода тоже говорят «сейчас не наше время»» (на самом деле

клуба страдальцев никакого не было, уволенные с завода инженеры разбежались кто куда и выживали поодиночке), чтобы Материя обрадовалась, что она *хотя бы не одна*.

Приободрившись, Материя вылила на меня поток сведений:

– У него целый штат прислуги: домработница, водитель, уборщица... Водитель – хам, уборщица – бывший кандидат наук, дети невоспитанные, особенно мальчишка, а девчонка еще хуже, вообще вне конкурса... А где у него матери-то детей? Он не говорит. Одна-то, понятно, может умереть, но тут – разные матери, и где они?..

А ведь Материя совсем недолго просидела в будке. Еще весной мама ходила к ней в школу, просила поставить Ларке пятерку по физике – у Ларки было между пятеркой и четверкой, пятерка требовалась для создания Ларкиного реноме в новой школе. Материя принципиально гоняла Ларку по всем темам, прежде чем оценила Ларкины знания на пятерку. Почему учитель физики так быстро превратилась в бабку-консьержку, упоенно сплетничающую о своих нанимателях? Чтобы чужое стало своим, нужно присвоить чужой рисунок поведения, случай Материи – чтобы быть услугой, сохраняя самоуважение, нужно стать услугой. Или проще – Материя обалдела от сидения в будке.

– Ты води себя с достоинством, – посоветовала Материя, – ты вот тут постой и подумай, как войти в дом с достоинством... И, как починишь кран, – все, никаких «а у нас еще это не работает, то не работает...», если что – пожалуйста, но за отдельную плату. В общем, не позволяй... держи ухо востро.

Мы коллеги по службе у Романа, стальная дверь и будка отделяют нас с Романом от всего мира, но в любой момент наш работодатель может расстаться с нами, и тогда линия обороны будет *от нас*, – вот Материя и советовала от всей души противостоять нашему общему работодателю.

... – Я Скотина, – солидно представился Скотина, он был не такой пухлый, каким я его запомнил, скорее худенький. – Это ты мой богат Петг Ильич? Я все знаю: ты не нянька, ты меня быстро научишь быть мужчиной, а если что, поддашь так, что я улечу.

Скотина верещал: «У меня богат, богат!», я приподнял его и немного потряс, чтобы он успокоился, он ко мне прижался. Я всегда был не прочь иметь брата, чтобы можно было его защитить от всего. Ларка – другое, она девочка, это мальчику нужна защита, а девочка сама себя защищает. Малыш Скотина прижимался ко мне, мне было тепло от его глупости и картавости, и я немного успокоился – я ведь очень волновался, как все будет. Хорошо, когда не нужно с ходу применять методы воспитания, а просто тебе рады. Но не тут-то было.

– Ты идиот? Какой же ты идиот. Он твой брат за деньги. Он – твоя гувернантка... гувернант, – раздался хриплый басок. У Алисы был низкий голос и детские для такого низкого голоса интонации.

Я так сильно нервничал, что не понял от Материи, что *там мальчишка и девчонка*, что это у них разные матери, о которых Роман «не говорит», как Синяя Борода, убивший своих жен. Не понял, что там *еще кто-то есть*, а там была Алиса.

– Ну, привет, Гувернант. Не думай, что он тебе радуется. Скотина всегда сначала радуется новой игрушке, а потом бросает, – сказала Алиса.

Алиса была (не буду подбирать эвфемизмы) – толстая. Не приятный пончик, весело пристукивающий чуть лишним весом, как мячик, а разнузданно толстая, бесформенная, «жирдяйка, жиртрест», – таких откровенно *жирных* я до нее не встречал. Лицо у нее было на удивление детское, с размытыми чертами, подчеркнуто незрелое по контрасту с женской рубенсовской полнотой, и волосы у нее были рубенсовские, золотисто-рыжая волна до талии, – она была похожа на огромного жирного ангела, если бы у ангелов были длинные волосы и талия. Ей было шестнадцать, как и мне.

Одета Алиса была во все черное с золотом (Алиса любила Версаче, все новые русские любили Версаче, так что извините за трюизм, но Алисе приходилось носить турецкий вариант Версаче, потому что в Турции шили большие размеры). Бутик Версаче был совсем рядом, за Аничковым дворцом, в павильоне Росси, там специально для Алисы выписывали самый большой размер, – у нее был полный шкаф черно-золотой ненадеванной одежды, потом мы придумали называть его Шкаф Бесплодных Надежд.

– Я – Алиса Романовна. Папа сказал, тебя зовут Петр Ильич Чайковский. Так, может, ты голубой?

Откуда люди знают такие вещи? Спросите у них, кто написал оперу «Пиковая дама», или «Портрет Дориана Грея», или «Бедные люди», могут и не ответить, но что Чайковский и Оскар Уайльд были гомосексуалистами, а Достоевский игроком, помнят так твердо, будто речь идет об их близких родственниках.

– Пойдем, я покажу, куда тебе можно заходить, а куда нельзя.

В нашей, то есть в их квартире был ремонт, но не в смысле «был сделан», а как «здесь *был* Вася», побывал и ушел. Коридор отремонтировали до комнаты дяди Игоря (от прихожей до комнаты дяди Игоря было двадцать два метра, я знал это точно: мы с папой не раз волокли под руки пьяного дядю Игоря до его двери, он подгибал ноги и повисал на нас, и папа вслух считал – «двадцать метров прошли, двадцать один, двадцать два, все...»). На полу черный гранит, на стенах светлый мрамор, – это что-то настойчиво напоминало, позже я понял, что именно, – метро. Гранит и мрамор были те же, что на станциях «Невский проспект» и «Площадь Восстания». Я говорю так не в насмешку над «новорусским вкусом»: в начале девяностых не было импортных материалов, и ремонт огромной квартиры быстро превратился в дружеский договор со строителями «кто что добудет», и строители по-свойски стырили для Романа что смогли.

Разделительная линия между «уже сделано» и «еще нет» пролегла сразу у двери комнаты дяди Игоря: до двери гранит и мрамор, а сразу за дверью комнаты дяди Игоря (теперь там была спальня Романа) стояли в ряд три унитаза, один другого краше (и это не насмешка над «новорусскими причудами», дело в том, что ни один унитаз не подходил к нашей системе труб, унитаза приносили, примеряли к трубам и отставляли).

За унитазами была Куча: стройматериалы (рулоны обоев, плитка, кафель), перемешанные с остатками нашего прежнего быта – наши старые карнизы, дяди Петино дырявое эмалированное ведро, швейная машинка бабы Симы образца 1890 года, красный бархатный альбом с фотографиями (мог принадлежать только дяде Игорю, родства не помнящему, остальные не бросили бы своих родственников в чужом ремонте)... Чего там только не было! Очевидно, рабочие, как поршень, шли по квартире, поочередно делая ремонт в комнатах, и, ленись выносить на помойку оставленные жильцами вещи, выжимали хлам в заднюю часть квартиры, – так образовалась Куча. Затем ремонт прекратили, а Куча осталась.

Спальня Романа (Алиса показала мне ее из коридора, сказав «посмотри один раз, и все, тебе сюда нельзя») была странно нарядная, не мужская, бело-золотая, в стиле «Людовик XIV», с огромной кроватью, туалетным столом с завитушками, как будто женщина устроила здесь все по своему вкусу, не подумав, как жить мужчине в этих бело-золотых завитушках. Я потом узнал, что квартиру обставлял водитель Романа, у него был вкус *на уютное*. Но бело-золотые завитушки не придали уюта, баба Циля говорила Игорю: «Живешь, как дурак, без женской руки, у тебя холостяцким духом воняет», и хотя теперь здесь пахло дорогим парфюмом, а не перегаром и нечистоплотностью, дух одиночества остался, – куда ему деться, ведь и Роман жил здесь один, как дурак, без женской руки.

Ну, и конечно, мне *было можно* заходить в ванную (те же гранит и мрамор, как в метро, выложенный мрамором бассейн) и в туалет, там зачем-то стояли два унитаза, как будто можно пойти в туалет вдвоем, присесть и болтать.

А вот и наша бывшая комната, в ней было *сразу все, как в палатке*, все, необходимое для жизнедеятельности: можно готовить еду, смотреть телевизор, спать, работать за письменным столом, не хватало только ванны и унитаза. Центральное место в ней занимал огромный письменный стол, очевидно, комната начиналась как кабинет Романа, а потом приросла всем остальным: при переезде сюда занесли все без разбора – холодильник, шкафы, диваны. На письменном столе – телевизор, посуда, микроволновая печь, тостер, чайник и зачем-то яйцеварка в коробке. Домработница ежедневно вытирала пыль с этого скопища предметов, вынимала яйцеварку из коробки, протирала тряпкой и засовывала обратно. Там же, на письменном столе, стояла электроплитка. В доме никто не готовил, а если решали поджарить яичницу или картошку, то жарили на плитке. Кухня была полностью разворочена, любая *женская рука* начала бы ремонт с кухни, чтобы дети нормально питались, а Роман ремонт на кухне отложил *из-за детей*, чтобы дети без помех учились. Вокруг письменного стола буквой «п» стояли три дивана, у окна два велотренажера. Всё.

Всё это выглядело абсолютно безумно и безумно привлекательно: можно разлечься на диванах вокруг плитки с яичницей, как вокруг костра, можно сесть на тренажеры и беседовать, крутя педали, смотреть на Аничков мост.

– Не вздумай шляться по квартире. Ты же не такой дурак, чтобы поверить, что ты «бгат»? Ты – обслуга. Слугам платят за работу, вот и все.

Обслуга? Слуга?.. Ларка кричала маме: «Я тебе не слуга!» Папа иногда говорил: «Давай, сделай это, у бедных слуг нет». Кот в сапогах был слугой маркиза Карабаса, Планше – слугой д'Артаньяна, а я не слуга! Я стоял, сжимая кулаки от злости, и молчал. Думал: «Мне нужна зарплата. Прокладки, жареная курица, маме еще кофточку какую-нибудь».

Мама научилась одной курицей кормить нас неделю: из грудки восемь отбивных, ножки пополам нам с Ларкой как растущим организмам, из остального суп; она говорила, что любит это *остальное* из супа. Однажды отец в шутку спросил, что ей подарить, когда он разбогатеет, и она быстро, не думая, сказала – «жареную курицу». Мне нужна зарплата – жареную курицу маме, прокладки маме...

– Это микроволновая печка, будешь в ней делать бутерброды Скотине. Ты что, никогда микроволновку не видел?.. Ну, ты дикий-ий... Эй, Гувернант, не обижайся, я не хотела тебя обидеть, просто повезло... ха-ха-ха... Скажи еще, что человек не должен показывать, что он выше других! Каждый хочет показать, что он выше. Иначе зачем людям дорогие машины, часы за десять тысяч долларов, Версаче, Гуччи? ...Ах да, извини, бедные не разбираются в Гуччи...

Я никогда не чувствовал себя бедным, а вот Ларка – да, *очень*...

Ларка была *еще маленькая*, разве можно обвинять ее в эгоизме за ее любимую фразу «почему у всех есть?!»? Ларкино взросление пришлось на самое трудное время, когда вокруг появилось все красивое: Барби (мама убеждала ее «посмотри, какое у нее дебильное выражение лица, наши куклы лучше»), киндер-сюрпризы, платица и туфельки. Ларка хотела всё, не понимала, почему *именно у нее* одна Барби со сломанной ногой, один киндер-сюрприз на Новый год, одни заношенные кроссовки. Наверное, обида слегка подперчила Ларкин характер. Но нехватка Барби не нарушала базовое чувство безопасности, а нехватка еды – нарушала. Когда отца уволили, а мамина зарплата вдруг превратилась в банку сметаны, и мама плакала, не стесняясь нас (банка сметаны стала вдруг стоить ее зарплату, 110 рублей), Ларке было тринадцать, она решила: раз мама плачет, значит, она, Ларка, в опасности. К тому же Ларка все время хотела есть.

Я уже не помню, когда у нас не было денег, а когда в магазинах не было продуктов. Помню, что на всех плитах в нашей квартире варились одинаковые толстые серые рожки (говорили, что они из армейских запасов), на всех столах стояли одинаковые трехлитровые банки консервированных зеленых помидоров (они были кислые, с привкусом гнилости), у всех были

консервы (килька в томатном соусе и морская капуста), и все старались питаться разнообразно: то жарили стратегические рожки с луком, то варили, мешали рожки то с зелеными помидорами, то с килькой. Однажды маме повезло купить по талонам итальянские макароны, и мы с Ларкой съели их за один день.

Еще ели гречку с жареным луком, а в овсянку вместо молока и сахара мама добавляла нам по полстаканчика мороженого. Зимой девяносто второго года по три раза в день ели суп из фасоли: стакан фасоли, луковица и четыре картофелины (вместо зарплаты папе дали десять килограммов фасоли). Мама перекладывала Ларке фасоль из своей тарелки, чтобы суп был погуще, а она кричала: «Ненавижу ваш суп!»

Ларка вообще любила слово «ненавижу» – она ненавидела суп, ненавидела очереди, ненавидела черное. Однажды вечером перед самым Новым годом мама поставила меня в очередь за хлебом в булочной на Некрасова – давали по две буханки в руки, очередь вилась до Литейного. Я стоял в очереди с учебником химии – это был мой седьмой класс, девяносто первый год. Мама оставила меня в очереди, а сама побежала в очередь за гречкой в гастроном на Литейном. Через час или два мама привела мне Ларку и убежала в свою очередь. «Ненавижу черное, почему здесь все черное?!» – кричала Ларка, очередь действительно была черная, почему-то все в черном... Тетка впереди нас сказала: «Ты же ленинградка, держись, а как же в блокаду жили?» Я сказал: «Извините, она еще маленькая».

Ларка была еще маленькая, а я был уже взрослый, взрослая неблагодарная дрянь. Как-то осенью баба Сима стояла в гастрономе на Марата за плавлеными сырками (она всегда стояла в очередях для себя и для нас), принесла домой, со словами «сыр добыла» достала сырки красными, как клешни рака, руками, а я сказал: «А я думал, ты настоящий сыр купила». Я ведь привык к тому, что сыр – это сыр, можно было сделать бутерброд или натереть на макароны, мама из всех сортов сыра (русский, польский и голландский) больше всего любила голландский.

Баба Сима не обиделась, сказала: «Хорошо хоть не зима, отморозила бы пальцы, а так просто замерзла, и все». Вот был стыд так стыд. ...Баба Сима нам много помогала: ее бывший муж покупал для своей семьи на рынке мясо, а ей приносил кости, из них варили суп, баба Сима говорила: «Вот опять кости, как в блокаду, но ничего, сейчас-то не блокада». Иногда бывший муж приносил ей вместе с костями просроченный йогурт, йогурт она отдавала нам с Ларкой, когда баба Сима уходила на работу, я отдавал свою половину йогурта Ларке.

А зимой баба Сима съездила в деревню, привезла мешок картошки и свинину. Положила кусок мяса бабе Циле на кухонный стол, пока той не было дома, баба Циля увидела мясо и сказала: «Тем-то хорошо, у кого родственники в деревне...» и переложила обратно на стол бабы Симы. А весной бабе Циле принесли посылку из еврейской благотворительной организации (крупа, арахисовое масло в банке, сухое молоко), она отделила половину, положила на стол бабе Симе, та пришла и сказала: «Евреям-то хорошо, о них Америка беспокоится» и не взяла.

Однажды нам в школе раздавали гуманитарную помощь (давали по списку, из нас двоих посчитали Ларку): банка с ветчиной, банка маринованных сосисок, порошковое картофельное пюре. Дома Ларка швырнула пакет на стол с криком «Нафиг эту Америку! Жрите, кто хочет, американские подачки, а я не нищая!» Она даже по сравнению с Америкой не хотела быть бедной. Потом мы, конечно, съели с ней эти сосиски, было так вкусно, что я чуть не съел свою долю сам, но вовремя спохватился и отдал Ларке. Ларка ела американскую подачку *злобно*, Ларка – боец. Однажды из бойцовских соображений решила украсть в магазине коробочку сока с трубочкой, долго примеривалась – украла, выпила, гордилась собой. Тогда это казалось, ребенок-вор – позор семьи, а сейчас смешно. Потом она попросила у мамы подарок на день рождения – «много соков с трубочками», тогда это показалось смешно, а сейчас – больно.

Когда папа начал «заниматься бизнесом», мы как-то распушились (мама говорила «накопец-то мы живем более-менее»), начали покупать еду в кооперативных магазинах, какие-то



вещи Ларке, папе и мне, – и маме шубу. Но не успела Ларка привыкнуть «жить более-менее», как папин бизнес уже прогорел. ...К тому времени, когда я стоял перед Алисой, сгорая от унижения, мы уже, конечно, не голодали, Ларке давали одно яблоко в день – и яблоко было, и курица. Вот только одежда... В прошлом году она ходила в старой зимней куртке времен «папиного бизнеса», местами зашитой, и после уроков шла в библиотеку, чтобы не выходить на улицу со всеми. Многие ходили в старом, Ларка не была хуже всех, но она страдала от того, что *хуже кого-то*.

Если считать, что мы с родителями и бабой Симой – бабой Цилей прошли сквозь исторические потрясения, то баба Сима и баба Цилия справились куда лучше родителей: может быть, потому что восприняли начало девяностых как очередной этап потрясений. Если бы жизнь отца пришлось на войну, на блокаду, он справился бы, как все, а вот индивидуальные тычки судьбы оказались ему не по силам, это *вдруг обрушение всего* в начале девяностых изменило состав его внутренней жизни, как будто он проглотил антибиотик: в его глазах застыла робость человека, который *не ожидал*, испуг перед разверзшейся бездной, где банка сметаны равна зарплате. Бедный мой папа... Ну, тогда я, конечно, не понимал, что он чувствует, меня больше занимала моя собственная душевная жизнь, например, что думают медведи в зоопарке о посетителях.

...Как поставить Алису на место? Я попробовал мысленно выкрикнуть: «Ты, жирт-рест!» – получилось слишком жестоко, и я мысленно попросил прощения. Так со мной всегда: поставишь кого-то на место, а потом начинаешь извиняться, а он не прощает... так что потом перестаешь и пытаешься ставить кого-то на место. Можно было повернуться и уйти, хлопнув дверью, и заплакать на лестнице...

– Ха-ха-ха, – удовлетворенно сказала Алиса, – ха-ха-ха. Ну, как я тебя разыграла? Я притворялась, а ты не понял! Притворялась новой русской, дурой дебильной. Смешно? ...А почему бы тебе было не залепить мне по морде? Ты, наверное, благородный, типа женщин не бьешь? А почему не бьешь?

– Почему, ну как почему? Это же очевидно, женщины слабее, и вообще... Существуют правила.

– Мне вот нет дела до правил. Мой папа говорит, правила нужно знать, чтобы их нарушать.

– А мой папа говорит, что нужно жить по правилам.

– Если твой папа такой умный, почему он такой бедный?.. Эй, без обид!.. Давай быстро сыграем в игру «правда или желание»; говори, что ты выбираешь: скажешь правду или хочешь, чтобы я исполнила твое желание?

– Скажу правду.

– Правду, отлично. Мой папа сейчас на бирже, он каждый час становится немного богаче, а твой сейчас где?.. Ты выбрал говорить правду!

– На диване, – сказал я, и мы расхохотались, как два заговорщика.

Это было крошечное предательство, но на вопрос «почему ты такой бедный, если ты такой умный?» и взрослому человеку трудно ответить, не прибегая к банальностям: смысл жизни не в деньгах и вообще у моего папы другие интересы (но *какие?* прийти со смены и улечься на диван с книжкой?). Я сказал: «Но моему папе *не хочется* на биржу» и оглянулся на Скотину, намекая на то, что я здесь на работе, а не для теоретических споров. Скотина на письменном столе смотрел мультик, разлегся посреди чашек и тарелок и поставил кассету «Аладдин».

– Ладно, все, мир-дружба-жвачка, добро пожаловать!.. А ты красивый. Ты в этом доме будешь на втором месте по красоте после папы. У моего папы огромное мужское обаяние, в

него все влюбляются с первого взгляда, умирают от любви... А ты... Я поняла, почему мой папа пустил в дом неизвестно кого...

– Кого пустил в дом?

– Тебя, идиот!.. У тебя такое лицо, как будто ты хороший человек. А ты правда хороший или врешь лицом?

– Вру, конечно. На самом деле я маньяк и жадина.

– Пусть Скотина смотрит мультики, а мы с тобой еще поразговариваем, – предложила Алиса. – ...Нет? Почему нет? Здесь я приказываю, а не ты... Ладно, шучу.

Я на работе. За пять долларов в день я давно уже обязан внушать Скотине правила поведения и прочее, а не поощрять, как говорит мама, бессмысленное сидение у телевизора. Но мама говорила и кое-что другое: «Наши мультфильмы лучше иностранных, воспитывают доброту». В стопке кассет на столе я заметил «Трое из Простоквашино» и «Винни-Пуха». Вот если, к примеру, дядя Федор, или Карлсон, или Винни-Пух, то это будет – воспитание. Под недовольное повизгивание Скотины я вытащил из видеомagnetофона кассету с «Аладдином», вставил *нашего* «Винни-Пуха», строго сказал: «Смотри у меня!.. Смотри “Винни-Пуха”!» Скотина отозвался: «Смотрю!» и уставился в экран.

А мы с Алисой уселись на велосипеды у окна, перед нами мой конь на Аничковом мосту, и стали разговаривать.

– Давай еще поиграем, – предложила Алиса, – правда или желание?

– Правда.

– Скажи: я просто толстая или очень толстая?

– Нет, лучше желание, я выбираю желание... Какое? Ну... три раза прокричи «ку-ка-ре-ку» и три раза ухни, как сова.

Алиса кукарекала, ухала совой, затем сказала: «Что ты хочешь про нас узнать? Чем мой папа занимается, где моя мама, где мамаша Скотины, что еще?» Алиса делала, что хотела, говорила, что хотела. Оба они, Алиса и Роман, одинаково легко говорили *что не принято*, как будто свобода от условностей передается генетически. Мне нравилось это, но я так и не научился этому, пока нет. Может быть, позже.

Алиса рассказала мне, чем занимается Роман, – всем. Например, совместное предприятие, например, водка «Абсолют», например, спирт, например, фирма при обществе инвалидов.

– Это как бы благотворительность, а на самом деле у общества инвалидов таможенные льготы на сигареты и алкоголь...

– Но ведь это обман?

– Обман, и что? Им хорошо, и папе хорошо. Да вся наша жизнь вранье, – все врут. Попробуй врать и увидишь, как твое вранье становится правдой, для тебя и для всех. Мне всю жизнь ввали. Я тоже все время вру.

Позвонил Роман, Алиса поговорила с ним, сидя на велосипеде. «Ты сегодня опять не ночуешь? – разочарованно спросила Алиса. – Ну пока, до завтра, целую тебя тысячу раз».

– Сказал, что ночевать не придет, – уже как своему человеку сообщила мне Алиса. – Жалко, что он няньку выгнал, при ней он дома ночевал... пока она ему не надоела... Папа при мне стесняется сюда женщин водить. Стесняется, но водит. Не может удержаться. А мне приходится делать вид, что это не то.

– Не то?.. Что не то?

– Ну, ты дурак, что ли? Они выходят из его комнаты, а я делаю вид, что это не секс, а почтальон или сантехник. Ха-ха. Это весело. – Алиса вздохнула, наверное, это было не слишком весело. – Я это делаю для папы, чтобы ему не было передо мной неловко. Я ему очень дорога. Я его главный ребенок. Я *законная*, понимаешь? Моя мама была за ним замужем. Я *законный* ребенок, а Скотина нет, папа его выменял на диван. Мог бы и не выменивать, подумаешь, Ско-

тина... Подумаешь, родила какая-то дурочка, все хотят от него родить, все папу обожают, у него женщин миллион... Первая женщина у него была в седьмом классе, представляешь?..

В седьмом классе? Скотину выменяли на диван? Я не мог себе этого представить. Пожалуй, больше не мог представить, что у кого-то была первая женщина в седьмом классе.

Алиса так удачно притворилась напористой и нагловатой новой русской, что я не был до конца уверен, что теперь она не притворяется, не врет, не преувеличивает. Я еще не знал Алисину историю, Алиса сказала только, что учится в самой дорогой в Петербурге частной школе при Герценовском институте, но вроде бы никакой драмы в Алисином прошлом не проглядывалось. Она не изголодалась по общению, ее не держали взаперти, ей не запрещали приглашать домой подруг... Тогда почему она так хотела *дружить*, почему была так напористо откровенна с чужим человеком?

...Алиса была толстая. Думаю, причина в этом. Толстая – это ведь не лишний вес, это лишний человек. Толстых не любят, к толстым относятся пренебрежительно, толстым трудно быть в центре внимания, – а Алисе хотелось быть в центре внимания. Психогенетика утверждает, что с генами мы получаем не только физические, но и психические черты, а Алиса уж точно была дочерью своего отца: «мне нет дела до правил», тяга к риску, жажда новизны, стремление очаровать, присвоить и затем манипулировать, – куда ей, «жиртресту», со всем этим букетом? В дорогой частной школе, среди девочек и мальчиков, ориентированных на «самое лучшее», Алиса уж точно не была «самым лучшим», только дома чувствовала себя неплохо и могла развернуться. Ну и, конечно, она так любила отца, что все это – его богатство, успех у женщин – просто выпирало из нее. Из человека всегда прет главное, а он был ее Главное.

Я выключил мультики. Поиграл со Скотиной, сомневаясь, выполняю ли я свои обязанности, ведь, вместо того чтобы учить его быть мужиком, я просто катал с ним машинки (одну машинку Скотина сломал случайно, другую намеренно, посмотреть, прочно ли приделан руль). Потом я сварил на плитке яйца, одно дал Скотине, остальные съела Алиса: она сидела на диете, по которой нельзя было ничего, кроме яиц, но зато яиц можно было съесть сколько угодно. Доев последнее из трех яиц, Алиса съела кусок сыра без хлеба («хлеб мне нельзя»), потом полбуханки хлеба и шоколадку. Бумагу, в которую был завернут сыр, скомкала и положила обратно в холодильник, обертку из-под шоколадки, разгладив, засунула в портфель Скотины, – я еще не знал, что она замечает следы.

... – Звонил папа. Он просил тебя остаться до двенадцати. Нет, не вру!.. Я не вру! Не вру я!.. – кричала Алиса. – ...Да, я вру, но ты ведь можешь остаться хотя бы до одиннадцати... Знаешь, как страшно одной в этой вашей квартирище? Ты, небось, тут никогда один не оставался, вас тут жило сто человек... а мне одной знаешь как страшно?.. Скотина? А что Скотина, он вообще не в счет.

Я позвонил маме, сказал «задержусь на работе» (она от изумления не нашлась что сказать), уложил Скотину спать. Он жил в комнате бабы Цили, узкой, как пенал, на полу была расставлена железная дорога невиданной красоты с поездами (там были даже вагоны-рестораны), платформами и семафорами.

А спал Скотина в детской кроватке для годовалых. Очевидно, Роман, когда забрал Скотину у его матери, велел водителю привезти детскую кровать, – и водитель привез *детскую кроватку*. Я хотел снять переднюю стенку, но Скотина перепрыгнул через переднюю стенку, лег, свернувшись в клубок и выставив ноги сквозь прутья, сказал, не надо, так уютней спать. Наверное, ему в целом было не слишком уютно.

Когда Скотина заснул, мы с Алисой уселись на велосипеды со стаканами (Алиса сказала: «А сейчас мы с тобой тяпнем вискарика, Johnnie Walker Red Lebel с кока-колой»). Алиса опять говорила об отце, подробно о его успехах в бизнесе и подробно о его женщинах («одна до утра

простояла на лестнице голая с вещами в руках, другая грозила самоубийством, когда он ее выгнал, третья...»).

Здесь все было *мое*, от коня за окном до царапины на подоконнике (в четырнадцать лет от злости на маму метнул в подоконник циркуль; мама говорила, что я пережил переходный возраст «как ангел», интересно, каковы были бы ангелы в переходном возрасте, если бы он у них был). Я был в *своей* комнате, но в чужой жизни. Я спросил, почему Роман всех *выгоняет*, как будто нельзя просто расстаться. Алиса сказала: «Сами-то они не уйдут, он же лучше всех».

Мы сидели на велосипедах над Аничковым мостом, смотрели на коня (накрапывал дождь, – если кто-то видел коней под дождем, он знает, какие они особенные, гладкие, а если не видел, то нет смысла объяснять), разговаривали о чужой любви. Алиса курила «More», и я курил, наслаждаясь чуть печальной взрослостью, – дождь, дым, полумрак, Аничков мост. Johnnie Walker Red Label с кока-колой сменился коктейлем Bacardi-Cola, затем опять Johnnie Walker, и когда в комнате зажегся свет, оказалось, что в первый рабочий день я встретил своего работодателя с *его* сигаретой и *его* виски в руке и, как говорила баба Сима, «сильно выпимши». Во всяком случае, с велосипеда я встал, не вполне удерживая равновесие.

– Водку пьянствуете?.. А-а, виски?.. Молодец, Алиса, взяла самый дорогой. И воду в бутылки не налила, не то что я в детстве, я в папашкин коньяк чай наливал, в вино компот, в водку воду... а в самогон тоже воду, – сказал Роман без тени неодобрения.

«Папашка» Романа был не алкоголиком, как можно было подумать, а известным в городе актером. Роман получил в детстве полный интеллигентский набор: английскую школу, эрмитажный кружок, балетные танцы и музыкальную школу по классу фортепьяно. Музыкальную школу он бросил в третьем классе (если первая женщина была у него в седьмом классе, то в третьем классе он уже начал взрослеть?). Слух у него был идеальный, он все время что-то насвистывал и двигался ритмично и четко, как будто пританцовывал.

Роман пришел не один, с ним была девушка, *необыкновенная*, казалось, она вся состояла из длинных шелковых нитей – длинные шелковые ноги, длинные шелковые волосы, не шла на высоких шпильках, а струилась, – очень красивая, но как-то в целом, как предмет в пространстве, без возможности выделить элементы; я влюбился в нее сразу, но дома не мог вспомнить ее лицо.

– ...Я в лужу наступила, – серебряным голосом феи прозвенела девушка. – Алиса, у вас нет лишних чулок?

– Носки могу дать, – мрачно предложила Алиса.

– Я не ношу носки... и колготки тоже.

– У вас вообще нет носков, ни одной пары? И колготок нет? Что же вы носите под брюки?

– Я не ношу брюки, – прозвенела фея.

Когда мы сидели с Алисой на велосипедах и смотрели на Аничков мост, было по-взрослому печально и прекрасно, а когда пришел Роман, стало *интересно*. Как будто в нашу бывшую комнату вошла жизнь и немедленно начала бить ключом (в его присутствии всегда возникало ощущение, как будто по всем пустились ток и все задержались).

Алисе Роман бросил пакет со словами: «Это тебе за вчера». (Из пакета вывалились цветные тряпочки. «О-о, какие фирмы...» – на лету рассмотрев ярлыки, заметила фея.) Мне, смешно сложив губы трубочкой, сказал: «Расслабься, чего ты так нервничаешь, ну, выпил, пей спокойно дальше. Если ты на чем-то попался, просто продолжай это делать. ...Тебя что, мама заругает за то, что выпил? А ты ей скажи: те, кому родители разрешают приходить домой пьяными, имеют больше шансов...»

Девушку усадил на самое удобное место, налил вина (феи не носят носки и не пьют виски). Я боялся, что Роман, соответствуя Алисиным рассказам, будет груб (возможно, прямо сейчас начнет фею выгонять), но он был с ней подчеркнуто любезен, раскладывал на столе

принесенные из магазина «Толстый папа» ветчину, сыр, шоколад, в общем, вел себя как должен вести себя нормальный человек, в гости к которому зашла фея.

... – Ты понял, почему она носит только чулки? Ты что, правда, не понял, кто она?.. Она проститутка, – улучив момент, прошептала мне Алиса. – Он снял ее на Невском или еще где-нибудь...

– С ума сошла?! Проститутка?! Она не может быть проституткой... Я знаю, и всё! Я в проститутках разбираюсь, – прошептал я в ответ.

В чем-чем, а в проститутках я разбирался. На чем зиждились мои знания?.. На «Яме» Куприна.

«Яма» стояла на верхней полке книжного шкафа, именно этот том, остальные тома Куприна стояли на нижней: мама решила, что я буду брать книги снизу, поленюсь тащить стремянку и лезть на верхние полки, но я не поленился. Наверху кроме «Ямы» стояли «Малая советская энциклопедия» (я прочитал в ней все, что там было про роды, половой акт и гениталии, и глупейшим образом прокололся: стремянку убрал на место, а книгу нет, пришлось врать, что искал там сведения для доклада по географии), потрепанный том Мопассана, «Медицинская сексопатология» (прочитал не всё, только главу о мастурбации, пример мастурбации в ванной при льющейся воде был довольно жизненным) и несколько разрозненных томов «Тысячи и одной ночи». Из этого набора и составились мои знания о сексе, сугубо технические, приправленные восточным колоритом (я считал, что восточный секс отличается от западного изысканным сопровождением: игрой на флейте, фруктами, благовониями, коврами, – «Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, и с улыбкой протянула графу свободную руку»). Ну, как-то так.

Дальнейшие события показали, что фея действительно была проституткой. Я узнал это самым простым образом – от Романа, он не раз мельком говорил: «...Нравится? Ну, давай, зарплату получишь и вперед», но чего не хочешь, того не слышишь, и я считал, что это шутка, означает: чтобы приблизиться к фее, нужно быть миллионером, а не получать пять долларов в день.

О чем мы говорили? Ни о чем умном не говорили. Алиса попросила Романа рассказать, как он женился на ее матери (это было копьё, брошенное в сторону феи). Роман удивился, но рассказал: пришли в ЗАГС, зашли в комнату, там тетка семечки лузгает, на столе пепельница с очистками, тетка говорит: «Молодые, выйдите», они вышли, через минуту тетка позвала: «Молодые, войдите», они вошли, а в пепельнице кольца... Алиса смеялась, подхрюкивая детским баском, фея звенела серебряным голосом: «Вы живете с двумя детьми, один, как романтически» (жить с Алисой и Скотиной, ломающим все, к чему прикасался, что угодно, только не романтично), смотрела на Романа застенчиво и жадно, между ними шла откровенно сексуальная игра, между Алисой и феей шла своя игра, Алиса всеми силами старалась не допустить ее до отца, то трогая его за рукав, то поглаживая по плечу с видом «мое!»... А фея так и сидела с мокрыми ногами.

О чем еще говорили? Роман говорил о своих планах – построить дом, это будет первое частное строительство в Петербурге, первый клубный дом, но дом – это мелочь, главное – он хочет строить на Васье Город Солнца: огромный комплекс с собственным стадионом, теннисными кортами, спортивной школой с лучшими тренерами, он уже придумал имя для комплекса (он так и сказал, не «название», а «имя», как для ребенка) – Город Солнца. Это его мечта – построить Город Солнца, раньше была мечта стать миллионером, а теперь Город Солнца. Главная проблема: часть территории, где будет Город Солнца, занимает военный завод. Роман с партнерами уже все сделали, чтобы завод сдох окончательно, теперь завод снесут, и можно начинать строить... Предстоят встречи с архитекторами, выбор проекта.

– Этот завод единственный в стране производит радиовзрыватели для установки «Град». Мой папа говорит, даже если сейчас нет военных заказов, необходимо сохранить производственные мощности, оборудование и кадры.

– Ну, и кому нужна установка «Град», может, твоему отцу или тебе?.. Кто он такой, твой отец? – напрягся Роман.

– Инженер. Он работал на этом заводе... пока всех не уволили.

– А-а... тогда понятно... Смешно совпало. Но ты не думай, что я лишил твоего отца работы: это не я, а ход истории. Зато у тебя все шансы: хочешь – станешь инженером, как отец, хочешь – хозяином жизни, как я. Если решишь построить свой Город Солнца, имей в виду: активы всегда должны быть больше пассивов, в любой момент времени... А если твоему отцу что-нибудь нужно, совет там или что, пусть обращается.

Я кивнул, обещая никогда не путать активы с пассивами, я и не думал, что Роман мой враг: ход истории, ничего не попишешь. И чтобы показать ему, что не собирался выходить на тропу войны, как индеец, чьи земли заняли белые, сказал, что отец озабочен ситуацией с курсом доллара и хочет на все свои деньги купить доллары.

– Ну да, скажи ему, что нужно купить, сейчас будет правильно купить... – одобрительно сказал Роман и вернулся к активам и пассивам, все не мог отпустить понравившуюся ему мысль.

– Алиса, представь, что я дал тебе деньги, – это твой актив, так? Ты начала строить дом, так? Незаконченное строительство – это актив или пассив? Правильно, пассив. Что ты должна сделать, чтобы у тебя не было пассива?.. Так, правильно, не платить строителям, пока не достроят. Что еще? Построить дом не на свои деньги, а на чужие. Молодец, ты *моя* дочь.

Алиса довольно улыбнулась, потянулась за куском ветчины, Роман смотрел на нее тяжелеющим взглядом, по лицу внезапно заходили желваки.

– Ключи от машины ему не отдавай, – прошептала мне Алиса. – Не знаешь, где ключи?.. В кармане у себя посмотри.

Оказывается, Алиса украдкой схватила со стола ключи от машины и положила мне в карман.

– А как твоя диета? – спросил Роман. Это был странный вопрос при посторонних, лучше, чем спросить подростка «был ли у тебя секс?», но хуже, чем «какие отметки в школе?». – Ты сегодня взвешивалась? Сколько?.. Понятно. Твое сегодняшнее взвешивание показало, что вчерашнее было лучше. Вчера тебе, видите ли, было грустно, так грустно, что ты все, что было, сожрала... А сегодня что?! Времени мало, ври кратко! ...Что ты сегодня ела? Яйца? Сколько?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.